

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК  
РУССКОЙ ПРОЗЫ

АНДРЕЙ СОБОЛЬ  
ЧЕЛОВЕК  
ЗА БОРТОМ

ПОВЕСТИ

АНДРЕЙ СОБОЛЬ

**ЧЕЛОВЕК  
ЗА БОРТОМ**

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

«Книгописная палата»

Москва 2001

УДК 821.161. – 3 Соболев  
ББК 84(2Рос-Рус)6-44  
С54

*Редактор-составитель* В. А. Широков  
*Дизайн переплета* Н. Г. Столярова

**Соболь Андрей**

С54 Человек за бортом. Повести и рассказы. М.: «Книгописная палата», 2001. – 320 с.

Это – первое за 75 лет переиздание прозы Андрея Соболя (1888 – 1926). Современники высоко ценили автора. Он нашел неповторимый тон, стиль, сюжеты, чтобы рассказать о трагических судьбах людей в революционную и послереволюционную эпохи. Читатели найдут удивительные предвосхищения булгаковских дьявольских мотивов и сродство с прозой Бабеля и Алексея Толстого о Гражданской войне. В отличие от них, Соболев был эсером с довоенным стажем и, принимая революционную действительность, не смог пережить ее жестокость.

Перед нами очевидный случай незаслуженного забвения писателя. Надеемся, что его ждет повторное признание уже у наших современников.

ББК 84(2Рос-Рус)6-44

© Столярова Н. Г., дизайн переплета, 2001

© «Книгописная палата», оформление,  
репродуцируемый макет, 2001

ISBN 5-9254-0007-0



## САЛОН-ВАГОН

...И вечный бой! Покой нам только снится  
Сквозь кровь и пыль...  
Летит, летит степная кобылица  
И мнет ковыль...

А. Блок

**Д**О ВОЙНЫ он был в личном распоряжении генерал-губернатора одной из восточных окраин.

А так как генерал-губернатор, старик шестидесяти лет, страдал водянкой, разбухнув весь, и почти никогда не расставался со своим дворцом и садом, пышным и занимательным, похожим на сады из арабских сказок, где тонкоголосые фонтаны, замысловатые лабиринты и узорные беседки еще хранили молчаливо-грустные воспоминания о последнем эмире, убитом на пороге его дворца, и так как телеграммы предпочитал поездкам, а халат, мягкий и вкрадчивый, словно улыбка восточной женщины, мундиру, то голубой салон-вагон мирно стоял на запасных путях.

Только раз в году, весной, отправлялся он в Петербург за генерал-губернаторской внучкой и привозил из Смольного девочку с косичкой. В его большом

зеркальном трюмо между двумя шифоньерками только и отражалось одно: белокурая институточка, худенькая, с большими, не по летам невеселыми глазами, и толстый умильно-широколицый денщик — не то нянька, не то дядька.

Девочка Тоня, а впоследствии Антонина Викторовна Ашаурова, надолго запомнила вагон № 23. Когда летом 1906 года умер дед, и на вокзале трубы, флейты и фаготы провожали его высокопревосходительство в последний путь, а на площади толпами стояли длиннобородые сарты, похожие на фокусников, и чревовещателей, девочка плакала не только о дедушке, но и о «голубеньком», с которым надо расстаться навсегда. О голубеньком вагоне, где в углу она когда-то нацарапала перочинным ножиком, как это делают все солдатики и о чем ей рассказывал денщик Прохор, свою тайну, тайну никому не рассказанную, даже лучшей подруге, — свое стихотворение с заглавными буквами в каждой строчке, как в хрестоматии, и над которым долго-долго работали и маленькая голова и маленькое сердце:

Голубенький вагон,  
Я люблю тебя, как деда,  
Я люблю тебя, как Бога,  
Если б не было бы Бога —  
Умерли бы все души.  
Если ты меня покинешь —  
Я умру.  
Голубенький,  
И меня заруют, как папу, как маму,  
как брата Сережу.

В начале войны судьба сначала закинула его на Кавказский фронт, откуда он перекочевал на Юго-Западный. На юго-западном фронте он был в непрерывном движении: новый командующий армией жил и спал в нем. Неутомимый и горячий, генерал нигде подолгу не засиживался, с одного места переносился на другое. Не раз вагон попадал под обстрел не раз вывороченные рельсы и калек-семафоры преграждали дорогу, но тотчас же из соседних вагонов выскакивали солдаты-железнодорожники, чинили — и вагон катил дальше. Покачиваясь мчался вдоль опустошенных полей, мимо разоренных деревень, дрожал всеми своими стенками, и дребезжало зеркалотрюмо, отражая карты, планы, кобуры револьверов, обветренные смуглые лица французских офицеров из миссии.

А чаще всего энергичный, слегка жесткий, как жесток бывает контур одинокой скалы, профиль того, кто несколько лет спустя (так же склонившись над картой), вздумал повернуть колесо истории России, пытался выдернуть его из колдобины, хотел направить его к старой Дорогомиловской заставе.

Вскоре вагон заболел — заболел, как болеют люди: подался, где-то лопнули какие-то пружины, дававшие жизнь, где-то что-то свернулось. Как уносят больного человека, так увели и его лечить: выстукивали, щупали, возились с ним, царапали потрескавшуюся голубую кожу, поднимали, вновь опускали. А вылечили, — пришла к выздоровевшему бумага, что такой-то и такой-то вагон переходит к министру такому-то и такому-то.

Тотчас же заново перетянули кожаные диваны и кресла, переменили гардины, занавеси, навели блеск на все медные части, подновили голубую краску, растянули ковры, — и уже в первую поездку зеркальное трюмо — молчаливый, но всевидящий свидетель — отразило иную жизнь иной полосы. В его таинственной глубине появились бокалы, серебряные ведерки, чарки, замелькали модные дамские прически, камергерские мундиры, фраки, косынки сестер милосердия вокруг накрашенных губ и подведенных глаз, сверкнули серьги, браслеты, свитские аксельбанты, разнокалиберные золотые и эмалевые значки, поплыли кружевные вырезы, лощеные проборы, монокли, голубые жандармские плечи, молодежато расправленные.

И однажды грузно и жутко обрисовалась в зеркальной глади неуклюжая, как каменная баба в степи, и страшная, как сам рок, вдруг принявший человеческий облик, растопыренная фигура косматого сибирского чудотворца и царского советчика в лакированных сапогах и шелковой поддевке поверх малиновой рубахи.

Надолго задержался вагон на Царскосельской ветке; разъезжал редко. А отпрянув от перрона, уносил с собой дикие указы: за каждым словом новое бедствие; дикие проекты, — а самая незаметная черточка их все глубже и глубже рыла пропасть, куда, как по бесовским рельсам, катилась вся страна, — и разнузданную, сумасшедшую волю временщика. И шум колес, отрывистый и резкий, не в силах был заглушить ни стука серебряных занятных стопок

с донышками из редкостных юбилейных рублей, ни всплесков женского рассыпчатого смеха.

Под звон, под пьяный гул, под кощунственный хохот шла Россия по своему крестному пути, куда толкала ее холеная рука из окна голубого вагона.

А февральская вьюжная ночь приковала вагон № 23 к какой-то маленькой станции Николаевской дороги, где он застрял на обратном пути из Москвы в Петроград с единственным пассажиром — личным секретарем временщика. И секретарь в ночь под первое марта сбежал, скрылся. Первого марта чья-то рука мелом вывела вдоль всего вагона:

«Да здравствует риволюця».

Два проводника, лет пятнадцать разъезжавшие с вагоном, привыкшие к нему, как привыкают заключенные к своей камере, наглухо заперли первую дверь в начале коридора и засели в своем чулане.

Старший проводник сказал второму, помладше: «Ну-ну, времечко», второй протянул: «М-м-дда, достукались», — и стали они оба день за днем следить, как тает снег, как мчатся взад и вперед переполненные поезда, неугомонные, словно вешние ручьи, и как кричат и радостно хорохорятся чуйки, картузы, шинели и студенческие фуражки, все опьяненные допьяна весенней сладкой отравой.

За окном вокзала телеграфист, молоденький, вихрастый, любитель Дюма и автор еще неоконченной поэмы, где главной героиней была великосветская княгиня Беловзорова, не разгибаясь работал днем и ночью, торопился. От усталости глаза смыкались, но надо, надо было стучать, и рука его не сползала



с рычажка, и дробно, дробно выстукивал он и, подхватив одну весть, передавал ее дальше — всем, всем, всем, — а уж очереди ждала другая, пятая, сотая — для всех, всех, всех. И рядом с вестями о новом министерстве, с речами министров, с именами арестованных была и краткая строчка для двоих, спящих в чуланчике рядом с топкой: немедленно отправить вагон в Петроград.

И снова очутился вагон у Царскосельского перрона, отдохнув, перешел на Николаевский вокзал, где полоскались красные флаги. А вечером повез в Москву, быстро, быстро, нигде по пути не останавливаясь, кучку людей в пиджаках и гимнастерках. И никто из них не спал всю ночь, и всю ночь в трюмо мелькали возбужденные лица, даже от бессонницы не притихшие, косоворотки, расстегнутые в волнении. И всю ночь проводники кипятили воду и в граненых стаканах с серебряными чеканными подстаканниками разносили по диванам, по креслам мутно-жидкий чай и тоненькие сухарики из последних остатков министерского запаса.

В конце июня вагон перешел в полное владение комиссара Временного правительства Гилярова, Петра Федоровича, который в Париже был известен под кличкой Алхимик.

Полный же новый его титул был таков: особоуполномоченный комиссар Соединенной комиссии по обследованию фронта и тыла.

Высокое зеркало, как всегда, невозмутимо и спокойно отразило фигуру нового хозяина, сутулую и узкогрудую, и френч его неопределенного цвета —

хаки с сизым, — и губы его, плотно сжатые, как будто упорные и решительные, но в то же время тающие в углах рта характерные складки болезненного раздумья и тоски, и лоб его, круто выдвинутый вперед, и глаза — серые, как и губы, будто властные и повелительные на первый взгляд, а потом, когда пристальнее взглядишься, надломленные и усталые. Но так как зеркало давно уже не вытирали и покрылось оно легким слоем пыли, то отражение получилось чуть туманным и расплывчатым, словно замутилась зеркальная глубь и пошла поверху мелкой рябью.

Господин комиссар приказал остаться прежним проводникам и в первый же вечер, случайно увидев, где они спят, велел им занять крайнее купе.

И проводники остались, и подстаканники, и юбилейные стопки, и маленькие строки в углу, детские строчки о любви к «голубенькому».

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

### I

Господин комиссар диктовал машинистке:

— ...И потому Центральному комитету необходимо немедленно же вынести резолюцию, что упадок дисциплины в войсках грозит всем завоеваниям революции и что для спасения их революционная власть не остановится перед самыми строгими мерами, как...

Постукивал ремингтон, словно другая, уже огромная машина, вторил вагон, чеканя свои собственные, только ему одному понятные слова, ровно горело

электричество в матовых грушеобразных колпаках, и матовый снег падал гладко, но безжизненно. У крайнего столика, где тускло блеснул небольшой мельхиоровый самовар, осторожно возился вестовой Панасюк, стараясь не звенеть чайной посудой. Туго натянутые занавески вздувались в открытых окнах, как паруса, встречный ветер упруго боролся с ними, и когда ему удавалось то в одном, то в другом окне слегка сдвинуть занавеску, — в трюмо, как след падающей звезды в небе, отражался на миг лет золотых искр, пропадающих в темноте, куда мчался поезд и где вдогонку кивали ему расплывшимися кронами ольхи, березы, ясени и сосны.

Поезд, прорезав лесок, выплыл в степь, и вскоре июльская ночь полной горстью бросила в окна запахи трав и жарко распустившихся цветов, бросила щедро, богато, расточительно, как расточительна бывает только после дневного зноя летняя ночь, опоясанная степью.

И на мгновение остановился Гиляров: так остро волнующе и близко-ощутительно пахнуло мятой.

— ...строгими мерами, как...

И еще ворвалась горько-сладкой струей дразнящая полынь.

Машинистка, не отнимая рук от клавишей, повторила:

— ...строгими мерами, как... Дальше?..

Но Гиляров уже стоял у окна, отдернув занавеску и не слышал. Машинистка подняла голову и, глядя поверх бумаги, переспросила:

— Как?

Господин комиссар не отвечал — перегнулся он через окно, и только виден был широкий хлястик его френча. Машинистка усмехнулась; за короткое ее пребывание в вагоне, что-то всего около месяца, Гиляров уже в третий раз приводил ее в полное недоумение: в первый раз своим вопросом, неожиданным, посреди разговора о грядущей революции в Германии: «А вы любите церковное пение?»; затем своей просьбой не называть его товарищем, а по имени-отчеству; и вот теперь в третий. А так как машинистка, барышня из Клина, уже успела за март месяц стать членом городского района Петроградской организации, то поведение комиссара, облеченного особо важными полномочиями, казалось ей более чем странным. В таких случаях короткая пренебрежительная усмешка являлась насущным делом — и, усмехнувшись, она откинулась к спинке стула. Замер у чайного столика и вестовой Панасюк, попросту считавший, что нельзя беспокоить начальство, когда оно изволит думать.

И никто не мешал Гилярову, как и никто не знал, о чем думает он и что видит он в степной темени, где только изредка, как будто вынырнув из глубокого омута, внезапно появлялся один-другой огонек заброшенного хутора, притаившейся усадьбы.

Да и что можно увидеть в темной степи, когда только изредка вспыхивают искры паровоза и сейчас же гаснут в полете, делая ночь еще темнее, а степную даль еще глубже?

## II

Но «алхимик» Гиляров, бывший ссыльно-каторжный, бывший террорист, бывший эмигрант, бывший студент, а ныне комиссар, особоуполномоченный и т. д., видел многое. И не только от мяты кружилась голова, и не только от полынного ветра замирало сердце под сизым френчем.

Или, быть может, именно мята и полынь, — эти чудесные запахи родины, — обо всем напомнили и, напомнив, сердце подтолкнули и мысли? Кто знает...

А сердце колотилось быстро, тревожно, точно накануне неожиданного счастья или еще неизведанной боли, боли, перед которой побледнеет все прежнее больное, и мысли неслись быстрее насыпи, ветра, быстрее степи.

Степь! Как дышит она, какой усладой нежит она и щеки, и глаза, и руки. И как давно, как много лет он не видел ее, он, алхимик, погруженный в книги, и он же, ненавидящий их, как ненавидят дверь, в которую стучишься, стучишься без конца и должен стучаться, чтобы за ней увидеть все или ничего. Сколько раз под чужими небесами он думал о ней и тянулся к ней, и как часто она всплывала то в рюмке абсента, то в таблицах о «безлошадных», то в тоненьких листиках заграничных изданий.

И вот она пришла, она здесь, она перед глазами — что же говорит он, что несет он ей, какую весть, каков подарок, какое знамение?

Дверь открылась, человек достучался, — что же за дверью: все или ничего?

### III

Ширился, рос, крепчал томящпй запах, от степи несся к поезду.

Стоя в окне своею салон-вагона, Гиляров видел сон наяву, где явь сегодняшнего дня месяцев восемь тому назад была бы невозможной, даже и во сне, под крышей мансарды на rue Sante, куда Париж, как бы в насмешку или в назидание и поучение русским пришельцам, на один конец бросил сумасшедший дом, а на другой — в начале улицы, заполненной «этими господами» в косоворотках и нелепых шляпах, — тюрьму.

Сон наяву, сон странный и временами непостижимый, где одно видение, не успев обрисоваться, уже рождало другое, более сумбурное, и, сплетаясь с третьим, десятым, сотым, чертило огромный круг, куда таинственная — кем предначертанная? — судьба бросала все новые и новые звенья. Каждое звено было отлично от другого, как разнилась сибирская каторжная тюрьма от Сорбонны, и каждое звено не подходило к другому, как не подходил арестантский бушлат к кимоно крошечной гейши в Нагасаки. Но все же звено примыкало к звену, и смыкались звенья, и грани стирались.

И ковался, ковался загадочный круг и куется дальше, забрав, забирая в себя, словно назло всему земному, разумному, но во имя неразумного свыше, неразумно нужного, и Черемховский рудник с вагонетками, и номер в петербургской «Астории» с чемоданом бомб в ногах английского инженера Джона

Уинкельтона, и кандалы, и лодку-душегубку, плывшую по Амуру вниз, к океану, к Азии, к воле, и смертный приговор, выслушанный в здании военного суда, и ночное парижское кафе возле Halles, когда на рассвете шумит железный рынок, загроможденный товарами, цветами, птицами, рыбами, фруктами, а русские гости, подневольные, пленные, плачут над стаканом вина, удивленным Марьэттам и Жаннам поют «Лучинушку» и, запинаясь от слез, водки и удручающей тоски, рассказывают под смех собравшихся сутенеров о том, как далека Россия, как хочется к ней, любимой, близкой и единой.

И карцер, узкий, как гроб, откуда, кажется, не выйти живому, и ночь в Колизее, когда перед глазами стоял Кремль, и копенгагенское Тиволи, и пеструю толпу мелкорослых японцев, где посреди русская сутулая спина мелькала безобразным пятном и казалась в тысячу раз более уродливой, чем все бумажные драконы, парящие под аметистовым небом в час шумного праздника. И нетопленную комнату на rue Sante, где жизнь билась, как птица в силках, между тюрьмой и сумасшедшим домом, и сербский походный госпиталь, где корчились от ран стройные македонцы. И гул снарядов над Лесковацом, и бегство в Ниш, и палубу норвежского угольщика, и переполненный взвинченной толпой коридор Смольного, и залы Таврического дворца.

И знамена, знамена красные, как кровь человеческая, и толпы на Невском, и салон-вагон с зеркалами, с голубыми мраморными умывальниками, с фарфоровым в гербах сервизом.

Круг, охвативший Сибирь, Азию, Францию, Англию, Балканы, фиорды, бурятские степи, скаты Малого Хингана, звенья подбиравший в угольных коях, на амурских баржах, в морских кабачках разноплеменного Марсея, в кибитке кочевников, в тесной комнате подпольной редакции, в курильне Шанхая, на эмигрантских вечеринках, кошмарных на рассвете, когда все выпито и все больные слезы выплаканы, в общих камерах: тобольской каторги, на пляже итальянской деревушки, — этот круг покрыл еще: степь, июньскую ночь с полынью, и бумаги с донесениями представителей воинских частей о гибели той, над которой рыдали в Париже и молились в Торнео, трепетно приближаясь к ее земным желанным границам.

#### IV

Плыл и качался вагон, стучали вразбивку колеса.

Стоя у окна, Гиляров отчетливо видел в немой темноте все очертания дней, событий, лиц — весь круг, и себя посредине него, и еще одно новое звено: свою длинную телеграмму в Зимний о том, что во имя завоеваний революции и спасения родины надо принять самые строгие меры, как...

#### V

Гиляров отошел от окна, резко рванув занавеску вниз; машинистка выпрямилась и положила руки на



клавиши, изогнув кисти, словно пианистка перед началом трудного пассажа.

— Пишите, — сказал Гиляров, подходя к машинистке. — Как, например... Уже? Вычеркните «например». Пишите: как твердое и категорическое осуждение и презрение революции всем тем, кто... — И вдруг, скривившись, точно от внезапного ожога, крикнул, взвизгивая, срываясь на высокой ноте: — Не надо, разорвите. Идите спать! Не надо!..

Панасюк остолбенел на месте со стаканом в руке; звякнув, упала ложечка.

Плавно покачиваясь, на поворотах вздрагивая, вагон мчался все дальше и дальше.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### I

Штаб 16-й дивизии находился в бывшем графском имении Нейшван. Чтоб добраться туда, Гилярову пришлось за Венденом с шоссе свернуть на проселочную дорогу, где мокли вялые худосочные березки, где на исковерканных проволочных заграждениях уныло торчали чахоточные галки.

Когда дорогу преграждали заброшенные окопы, похожие на ряд начатых, но недоконченных рытвем могил, полные зеленоватой воды, лошадь пятилась назад, и Гиляров, спешившись, брал ее за повод — и всадник и конь пробирались по кочкам, то подсакивая, то глубоко уходя в густую желтую грязь, — оба унылые под осенним предвечерним ветром.

А в штабе сразу позвали к прямому проводу, — уже в третий раз командир корпуса нетерпеливо справлялся о приезде комиссара. Не успев обсохнуть, Гиляров пошел к аппарату; стоя за спиной телеграфиста, глядя, как тянется белая лента и неуклонно покрывается буквами, мокрым рукавом шинели вытирал грязь с лица.

От рукава пахло кислым, напоминало запах этапки, где человек сто лежат вповалку после длинного перехода под дождем; у телеграфиста, чистенького и аккуратненького, в новенькой гимнастерке, голова была в мелких кудряшках и напозажена, как у писаря из полковых любимчиков, и этот сладкий до гадливости запах сливался с первым. Гиляров морщился, глотал липкую слюну, едва выдавливал слова и изнывал в ожидании конца переговоров. Но командир распространялся, дважды повторял одно и то же, и хотя по повторности и по любой фразе заметно было, что он взволнован до испуга и ждет тех или иных, но, во всяком случае, немедленных поступков комиссара, все же не отпускал его от аппарата.

И разматывалась, разматывалась бумажная лента, такая же долгая, как только что покинутая проселочная дорога, и такая же тусклая, безрадостная, и даже буквы были похожи на тех общипанных голодных галок, которые обмызганные перья свои трепали о проволочные колючки.

-- Хорошо... Хорошо... — с усилием выдавливал Гиляров слова. — Хорошо, генерал. Я к вечеру все выясню. Всего хорошего.

— Примите во внимание, что беспорядки перекинулись в соседнюю дивизию, — не отпускала лента. — Примите во внимание, что образуется прорыв чуть ли не в пятнадцать верст... Примите во внимание...

— Все приму. Все... — еле-еле отвечал комиссар и судорожно поводил головой, отворачиваясь от пиджачных завитушек.

## II

На обратном пути из аппаратной его тут же у дверей перехватил начальник дивизии, круглый, безбородый генерал, ниже среднего роста, но затянутый в талии, голубоглазый, с сединой в височках, неторопливый в своих округленных движениях, слегка грасирующий, похожий на тех генералов, что в старые времена на Мойке отбирали у просителей заявления и прошения и неизменно корректно и мягко отвечали: «Обязательно. Немедленно. Сочту своим долгом».

И только когда он запер дверь своего кабинета, два раза щелкнул ключом и даже попробовал, крепко ли заперта, Гиляров понял, что голубые глаза только по привычке беззаботны и чуть-чуть игривы, а пухлые руки с перстнем старинной чудесной работы не суетны и сдержанны, но что на самом деле генералу жутко. И по тому, как он попросил его присесть и как раскрыл золотой с вензелем портсигар, предлагая папиросу, Гилярову ясно стало, что генералу не по себе, что он не знает, как начать разговор, и что смущен он встречей и не уверен в себе,

боится не в тон попасть, не так сказать, как надо, а сказать-то хочет и знает, о чем надо сказать, даже и слова подходящие знает, но вот убежали они, сгинут.

От генерала тоже пахло, но уже по-другому, и уже не тошнило, не было в горле противного подкатывающегося комочка, от которого скулы немеют, и потому легче стало, но по-прежнему плечи давила сырая шинель, и по-прежнему мерзко липли к ногам намокшие носки.

Генерал заговорил о скверных латышских дорогах, о том, как вязнут пушки; Гиляров слушал, все бормотал:

— Да-да, — и, поддакивая, думал, глядя на генерала: «На кого он похож? На кого он похож?» — и даже занервничал от желания вспомнить, как вот бывает на вокзале, когда поезд уходит и в окне мелькает чье-то лицо, такое знакомое, близкое. И, наконец, вспомнил детскую книжку «Векфильдский священник» и картинка к ней: круглое лицо, височки, полный, мягкий подбородок, ласковые глаза и воротник вроде жабо.

А за окном одна на другую громоздились лохматые, растрепанные тучи, бился по ветру сломанный флюгер на изрешеченной пулями башенке, полз за поворотом обоз с фуражом, и на высоких покачивающихся глыбах сена крошечными серыми комочками виднелись солдаты.

«Векфильдский священник... А солдаты требуют его удаления... И домой хотят... Мир дому сему... А в окна стреляют», — и ласковый генерал, и съездившиеся фигурки на фургонах, и уцелевший гобелен

на стене, и столетняя башенка, и мокрая шинель на плечах — все это внезапно почудилось таким нелепым и сумбурным. Гиляров поднялся со стула, генерал встрепенулся:

— Куда вы? Куда вы?

И вдруг голубые глаза потемнели, опали сочные губы, и сразу обмякли генеральские плечи — и стоял перед Гиляровым растерянный, напуганный человек, ошарашенный ударом, вот как бьют сзади на ходу в пустынной улице, вынырнув из переулка.

Чувствуя, как у него холодеют ладони, Гиляров шагнул к генералу

— Все уладится. Все уладится, — зашептал он прерывисто. — Мы еще повоюем... — И неловким движением обнял генерала, а когда он, высокий, обнимая, поневоле должен был пригнуться, чтоб рука его не задела генеральской макушки, он увидел, что генерал плачет, беззвучно, только холеные щеки заходили, и побежал к переносице ряд внезапно появившихся морщин.

### III

Вечером в соседнем флигеле Гиляров присутствовал на заседании дивизионного комитета.

Председатель, солдат с усеченной головой и белками навывкате, задыхаясь, кашляя нудно, докладывал, какие, по его мнению, должны быть приняты меры для успокоения взбунтовавшихся солдат, и перечислял пункты, при каждом из них выпрастывал косым движением головы зобастую шею. В это

время вестовой принес Гилярову из штаба письмо от генерала. Под шум споривших и речь с цитатами полатыни — говорил уже другой член комитета, вертлявый еврей-фельдшер с носовым платком в руках, — Гиляров читал письмо генерала:

«Мне не стыдно, что я, боевой генерал, бывший ординарец Скобелева, плакал. Мне не стыдно, что я, георгиевский кавалер, разревелся, как новобранец при приеме, но я не хочу, чтобы мои слезы вами были неверно поняты и ложно истолкованы, ибо эти слезы не страха ради, не из опасения за свою жизнь. Я не раз глядел смерти в глаза, погляжу и сейчас, и если, дай бог, случится, то приму ее не на четвереньках. И плакал я даже не потому, что любимая мной дивизия потребовала моего изгнания, хотя нет ни одного солдата, которого я бы обидел даже до переворота, хотя с того дня, как я принял ее, я был только с нею, только ею жил — и под Ригой, и под Двинском, и каждый солдат знал меня, как я знал каждого из них. А вот кто спасет Россию? Кто спасет нас всех и всех нас укроет? Все мы одинаково бедны и все мы одинаково бессильны. Я не скрою, и смешно было бы скрывать: я не республиканец, мне дорога была монархия, и тридцать лет своей жизни я отдал ей, но пошла старая Россия прахом, восстала новая — и не судить теперь нам, было ли это хорошо или плохо, кто виноват и кто довел — встала новая, и пусть мертвые хоронят мертвых, — значит, так надо, значит, такова судьба и да идут вперед живые. Но почему, почему живые уже мертвы? Но почему все глубже яма, куда мы ползем со страшной

закономерностью, и почему от этой закономерности не уйти? Вы, конечно, пожелаете объехать полки. Вас примут, вас не прогонят, вас выслушают, вы не золотопогонник и вы как будто свой, но вы тотчас же убедитесь, что нет исхода и что вы и они — как древние строители Вавилонской башни. Над этой башней работают в Москве и в Киеве, генералы и последние безграмотные пастухи, министры и грошовые репортеры, чужь и мордва, талантливые и бездарные, добрые и злые. Растет башня — и ничего с этим не поделать. Взбунтовалась моя любимая дивизия — вы услышите, что вам будут кричать из рядов, когда вы с ними заговорите, — завтра другая, третья, но разве дело в этом и разве рухнет чудовищная башня, когда дивизия согласится выйти на позицию, когда все дивизии подчинятся? Нет, нет и нет! А почему? Я не знаю, потому я и плакал. И если бы сейчас собрать всех генералов, всех купцов и всех ученых, как вот завтра вы соберете всех солдат, и пусть мой любой солдатик пойдет к ним и, как завтра вы, станет объезжать их ряды, — та же башня встанет. Я подъеду — то же самое. Потому искренно говорю, что мне страшно, потому я смерти хочу, как избавления. Не дивизия взбунтовалась и хочет покинуть передовые позиции, а вся Россия поднялась с насиженных старых мест и идет. Куда? Куда? Идет неуклонно вперед или неуклонно падает в пропасть? Не знаю, не знаю, но закономерность я чувствую и сгибаюсь под ее железной волей. Сегодня плакал я, быть может, еще многие возле меня, вот плакал вчера капитан Снитников, которого в сумерках под-

караулили у цейхгауза и дали камнем по голове. А капитан Снитников в 1906 году только чудом спасся от суда за участие в военной социалистической организации, и еще недели три тому назад солдаты прислали мне резолюцию, что мне они не доверяют, так как я «царский», и хотят, чтобы начальником дивизии был назначен свой — капитан Снитников. А завтра, послезавтра заплачем все: и те, кто с камнем, и те, кого камнем по виску. И если вы, господин комиссар, при объезде спросите любого солдата, любому заглянете в глаза, вы увидите... Ах, впрочем, все равно: и вы, и вы знаете... Ваш покорный слуга»...

#### IV

— Товарищ комиссар, — хрипло проговорил председатель. Гиляров недоуменно поглядел на него и вернулся к письму; кто-то из солдат хихикнул, председатель натужно повел шеей, стало тихо, и, легонько тронув Гилярова за плечо, фельдшер зашептал скоренько:

— Вас зовут, товарищ. Вас.

Гиляров сжал письмо и подошел к столу, зашевелились в углах, и только теперь заметил Гиляров, что в комнате много солдат и что все они блеклые, пожухлые, словно не то выпались, не то накурились до одурения. Дымились трубки, папиросы, собачьи лапки, потели окна, в углу на куче шинелей спали беленькие котята, и точно на дозоре сидела возле них бесхвостая кошка. На столе лежала груда газет — армейских и столичных, и молоденький



офицер, как потом оказалось, секретарь дивизионного комитета, подпоручик Разумный, разложив поверху лист бумаги, вел протокол. Пальцы его и губы темнели в лиловых пятнах от чернильного карандаша; стриженный бобриком, с заячьей губой, безусый и угловатый, подпоручик до смешного смахивал на гимназистика с последней парты, даже гимнастерку он то и дело одергивал по-мальчишески, даже поясик у него был с алюминиевой пряжкой.

## V

— Вот, товарищ, — тянул председатель, и зоб его лез наружу, — наша резолюция такая, чтоб уладить по-мирному. В обед заявили к нам дилигаты из стрелковой дивизии, там тоже будто неладно и сухари к концу, а полушубков не везуть.

Фельдшер всем своим туловищем повернулся к Гилярову, говорил он правильно, но слишком отчетливо:

— Каково ваше мнение, товарищ комиссар? Мы хотели бы знать. Принимая во внимание ваше...

— Я хочу поговорить с солдатами, — сказал Гиляров и еще крепче сжал письмо.

— То есть с полковыми представителями. Они тут, — улыбнулся фельдшер. — Это и суть дивизионный комитет. На началах вроде паритетных...

— Со всеми, — угрюмо перебил Гиляров. — Я объеду полки.

Фельдшер согнал улыбку и, махнув платочком, крикнул:

— Собрание объявляется закрытым.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

### I

Еще только сумерки надвигались, как ветер упал и, поредев, расплзлись облака.

Когда Гиляров покинул флигель, уже над всклокоченными полями, над дальним леском, над разрушенными усадебными пристройками висела луна. В неверном, как туман, но неподвижном свете, сумрачно и гордо, как обнищавший рыцарь, вставал изуродованный замок, бывший великолепный Schloss Neuschwann, где некогда древний герб украшался мальтийским крестом, где однажды гениальнейший музыкант прошлого века в отдаленной комнате, обитой темно-синим трипом, посвящал графине Вермон-Нейшван свою бурную, как он сам и как его жизнь, свою пламенную, как его неугомонное сердце, сонату.

От ворот замка далеко уходила аллея в тополях, некогда прекрасная, как непрекращающаяся галерея готического собора, а теперь вся искалеченная, с прорехами от снарядов, с вывороченными корнями, с рытвинами, с надломленными верхушками, и в широкие просветы издали блестело гладкое, ровное озеро, такое же бледное, как лунный свет, такое же невозмутимое и мертвое, точно огромное серебряное зеркало, на которое дохнули.

Солдаты расходились, сворачивали в сторону — и силуэты пропадали за различными постройками без крыш, покосившимися, горбатыми, за стенами с уродливыми впадинами вместо окон.

Упорно глядя на озеро, Гиляров направился к нему, но услышал позади себя шаги: за ним следом шел подпоручик Разумный.

Когда комиссар остановился, подпоручик метнулся было в сторону, но вдруг обернулся к Гилярову и по-детски неестественным басом спросил:

— Можно мне с вами?

И, не дождавшись ответа, подошел совсем близко и сказал:

— Мне так нужно с вами поговорить.

И заячья губа его еще выше задралась кверху, точно он, как мальчишка, от волнения носом шмыгнул. Фуражка была у него в руках, шинель расстегнута, из бокового оттопырившегося кармана торчал сверток бумаги — сегодняшней протокол собрания, а может быть, и вчерашней, — и на одной штанине, повыше колена, наивно и убого лежала черная большая заплата.

— Со мной? — переспросил Гиляров и передернул плечами: от озера тянуло холодом. — Хорошо. Вот... Скажите... Вы знаете капитана Снитникова?

— Знаю, — ответил подпоручик и надел фуражку, и сразу он стал старше на много лет.

— Он где лежит? В лазарете?

— Нет, в штабе.

— Вы можете меня проводить?

— К нему?

— Да, да, вам не трудно?

— Помилуйте, — чуть не крича, ответил подпоручик. — Я даже... так рад этому. — И, покраснев, заспешил.

## II

Гиляров шел за подпоручиком, — и вбок уплывало озеро, будто таяло. Тополя расплывались, за поворотом чернела новая башня с рассеченной пополам главкой, а в треугольной комнате, где туго нависал сводчатый потолок и за бумажным крохотным экраном оплывала свеча в позеленевшем от времени массивном подсвечнике, Гилярову навстречу приподнялась с подушки сплошь забинтованная голова. Глухой, но твердый голос спросил:

— Кто тут?

Под прямыми черными усами сверкнули плотные, плоские зубы, сильные, крепкие, как крепок был удар, от которого эти зубы, раз скрипнув, застыли в кривом оскале.

— Вам нельзя волноваться, — бережно уговаривал поручик и поправлял откинутое одеяло.

— Я не волнуюсь, — кривился капитан Снитников. — Я только отвечаю, раз меня спрашивают. И, надеюсь, господин комиссар слушает меня не из праздного любопытства. Не так ли? И не для очередной статьи? В газете, в благонамеренном органе, на горячую тему о разладе между погонами со звездочками и погонами без всяких звезд... А, вы не пишете? Тем лучше. И я никогда не писал. Я только дело делал. Как и те, что тоже никогда не писали и тоже только делом занимались. Как вчера... за цейгаузом. Тоже дело. Да-да, дело, дело. В этом-то все дело. Я острою неудачно, но это простительно. В пятом и шестом году мы не острили, и когда по очереди нас хватали и ссылали на каторгу...

— Я был там, — почти шепотом, с усилием проговорил Гиляров.

Белая голова взметнулась выше, и опять за изголовьем послышался голос подпоручика:

— Вам нельзя.

— В Алгачах? Нет? Где же? В Тобольской? Значит, вы знали Первухина, Кочегова? Господи, знали! И я туда чуть было не угодил, но нелегкая выручила. А те... ведь ни один из них не вернулся... Было их четверо. И вот мы могли с вами встретиться там, и там бы вместе молились: грянь, грянь, буря! А встретились тут. И вот я избит, а вы... Вы будете тоже избиты, будете, рано или поздно, но будете, будете. Там бы нас били тоже, но чужие. Ведь были тогда и свои, и чужие. И вот все свои очутились вместе. И вот свой подкарауливает — и камнем, камнем раз, другой, третий. Подпоручик Шаповаленков на суде говорил: наступит час, когда нас, вами осужденных, вами ошельмованных, русский народ, русский солдат встретит радостно, любовно и вместе с нами пойдет... К цейхгаузу? Крадучись? Навалившись сзади?

Еще выше взметнулась белая голова.

Суется у изголовья, подпоручик Разумный молил:

— Ради бога...

— Оставьте! Шаповаленкова казнили, и он перед смертью крикнул: «Да здравствует революция!» Капитана Снитникова проклятая, трижды проклятая нелегкая уберегла от расстрела — и вчера ему крикнули: «Эх ты, сволочь!» Капитана Снитникова угнали в Оханск, и в Оханске, на берегу Камы, в лесочке

твердил он солдатам: ничего, ничего — будет, будет светлое царство. Капитан Снитников при первой телеграмме из Питера выскочил из окопов и заорал восторженно: «Наша взяла, наша!» А вот вчера Шаповаленкова, Снитникова, тобольчан колошматили за цейхгаузом. Бедный Шаповаленков, бедный Снитников, бедные тобольчане, не пожелавшие помилования, — все с повязками и бинтами. Остановите все заводы — и пусть только выделывают бинты. Много их понадобится, много. Запасайтесь, спешите запастись. Ничего не надо, кроме бинтов. Торопитесь выделкой, торопитесь. И пошлите к дьяволу все газеты, все передовые и задовые, пинком опрокиньте все трибуны, разметайте по ветру все книжки, брошюры, реляции и резолюции. Оставьте только одну резолюцию: желаем, чтоб все похерить. Оставьте одну резолюцию: у российского цейхгауза все по-прежнему; оставьте одну книжку: руководство для наложения повязок. О, о, черт!..

Клубок бинтов заметался по подушке, и между ним и Гиляровым тотчас же выросла напряженная фигурка подпоручика Разумного, и фигурка замаха-ла руками.

Гиляров вышел из комнаты, слотыкаясь в коридоре об ящики, наугад побрел к выходу, в одной комнате запутался, в другой опрокинул столик и, наконец, добрался до крыльца, где некоторое время спустя подпоручик нашел его сидящим на верхней ступеньке.

Подпоручик молча присел рядом, и оба долго сидели — один слишком прямо, как будто его насильно держали в таком положении, другой согнувшись,

маленькие, как у ребенка, посиневшие ладошки сжав коленками, оба не спуская глаз с озера, где раньше плавали черные лебеди и сильным крылом били по воде, где когда-то в ажурной беседке читали вслух Новалиса.

И слушали, как рядом, за освещенными окнами, стучали ножами, вилками, гремели тарелками: господа офицеры из штаба ужинали.

### III

Молчание нарушил подпоручик; он продолжительное время ерзал на одном месте и, когда до боли натер ладони, робко заговорил:

— Мне можно завтра? Вместе с вами?

— К чему? — спросил Гиляров, не оборачиваясь, все пристальнее и пристальнее всматриваясь в озеро.

— Да вот... — Подпоручик поглядел в небо — туда, где белесоватый круг замкнул луну, — и замигал ресницами. — Да я... Ведь я секретарь комитета... Меня солдаты... — И вдруг воскликнул жалобно: — Я не могу иначе. — И не то горестно, не то сконфуженно кинулся с крыльца, стуча громоздками, не по ноге, сапогами.

— Постойте! — негромко окликнул Гиляров.

Подпоручик остановился и ниже надвинул фуражку: длинный козырек почти уткнулся в нос.

— Постойте. Хорошо, поедем вместе. Присядьте.

Подпоручик сел на нижнюю ступеньку, отвернулся, поднял воротник шинели, и комиссар увидел, что левое ухо его загнулось, как-то смешно, грустно и

обиженно. Комиссар подался вперед, протянул руку, чтобы поправить, но тотчас же отнял ее, опять выпрямился и только спросил:

— Вам тяжело?

— Ужасно, — быстро отозвался подпоручик.

— Уезжайте. Хотите, я это устрою. Только скажите, куда бы вы хотели.

— Куда? — и снова подпоручик глянул в небо и снова заморгал ресницами. — Все равно, — проговорил он как бы про себя. — Все равно. — И заячья губа его дрогнула.

— Везде?

— Везде, — сказал подпоручик.

— А вы верите, — Гиляров с трудом подбирал слова, — а вы верите, что еще будет хорошо? Что еще... сбудется?

Подпоручик стиснул руки под шинелью и ничего не ответил.

— Значит, все равно?

— Все равно, — ответил подпоручик и голову положил на перила.

#### IV

Часа два спустя, уже вызванный командующим армией к аппарату и поговорив с ним, Гиляров шел к генералу. По дороге попадались ему офицеры и безмолвно кланялись, в столовой два солдата подметали пол, и один из них, увидев комиссара, бросился к буфету за салфеткой и прибором, но Гиляров остановил его, заявил, что ужинать не будет. В комнатке



перед кабинетом генерала, в золоченом облупленном кресле дремал вестовой, и кренился над ним потемневший портрет женщины в розовом, безглазой: вместо глаз — пульки. Не будя вестового, Гиляров постучал в дверь.

— Войди, — слышалось за дверью.

Гиляров толкнул дверь.

— Это не вестовой, — сказал он на пороге. — Это я.

Растерянно натягивая на себя одеяло, генерал непослушными ногами ловил туфли, не мог найти и присел на краешек постели; под тонкой шелковой фуфайкой блестел крестик, и на покрасневшей мигмом шее забелел узенький след от цепочки.

— Я не знал, что вы уже в постели, — продолжал Гиляров, все еще стоя на пороге.

— Прошу, прошу, — бормотал генерал и тербил подбородок и приглаживал височки.

— Я на рассвете еду к солдатам. Я только что говорил с командиром, и я хотел вас предупредить. Я иду на все. Или они завтра к вечеру займут указанное место. Или я... Ну, и вот. Через час сюда направится Третий драгунский, одна батарея и казачья сотня. Утром будут здесь. Если угодно, вы можете сдать дивизию полковнику. И можете уехать в штаб армии. Так вот... остаетесь?

Генерал оставил височки и качнул головой; сползло одеяло, и под фуфайкой заколыхался выпуклый толстый живот.

Гиляров отвел глаза.

— Так вот, я еду. До свидания. А письмо ваше...

Генерал зашаркал ногами, снова стал искать туфли.

— Письмо ваше... мне понятно. Всего хорошего.

— Господин комиссар... — тихо, но внятно позвал генерал. — Если вам не трудно... на полчаса...

Гиляров отпустил ручку двери, беглым взглядом поймал неуверенную, надломленную улыбку генерала и, на ходу сбрасывая шинель, подошел к кровати: «Векфильдский священник... Все равно».

## V

И до рассвета горела лампа в генеральском кабинете, где над кроватью висел гобелен «Похищение Прозерпины» и где по столу с картой обоих полушарий торопливо, по-осеннему шмыгали тараканы, невозмутимо переходя из Европы в Азию.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

### I

Чуть свет выехали втроем, верхами; присоединился и председатель дивизионного комитета. А фельдшер провожал и на прощание скороговоркой, но внушительно давал председателю последние наставления, на ухо, встав на цыпочки; скособочившаяся голова председателя никла к лошадиной гриве и кивала послушно.

Первым на очереди был Старорусский полк, самый надежный.

У избы с погорелой крышей, где заседал полковой комитет, солдаты собирались вяло, по два, по три человека, обмахивались, когда комитетчики поторапливали, на ходу в липняке ломали ветки, но тут же, поиграв прутьями, бросали их, лениво переругивались, нехотя перекликались. Стоя у окна, следя за ними, Гиляров видел перед собой скучающую толпу, не знающую, что ей делать: улюлюкать ли проезжающей мимо бабе в рваной австрийской куртке, или колотить рябого плосколицего солдатика с сережкой, который приставал ко всем, заламывал шапку, притопывал ногами и кукурекал по-шутовскому. За его спиной подпоручик Разумный, уже застегнутый на все пуговицы и потому сосредоточенный, шептал:

— Не будут слушать. Вы одно только слово скажете, как они уйдут. Так было на прошлой неделе, когда мы умоляли взяться за постройку землянок. Повернулись и ушли.

Зобастый председатель, загнав комитетчиков в угол, что-то хрипел им, и раздавалось там то и дело: «Революция, значит... значит, порядок надобен»... Безостановочно хлопала дверь, шинель напирала на шинель, в подслеповатое оконце заглядывали узкие, толстые, вздернутые носы, недовольный голос тянул: «Санька, где ты?» — у крыльца пофыркивали лошади, и солдат-татарин, заткнув полы за веревочный пояс, совал лошадям мокрое сено и уговаривал ласково: «Кускай. Кускай».

И этот же татарин прямо глядел в рот Гилярову, когда тот с табуретки говорил солдатам, и он же радостно пискнул: «Йса, ца-ца», когда кривоногий

ефрейтор с багровым родимым пятном во всю щеку крикнул комиссару:

— А зачем вы всякую сволочь в министерствах держите? Не хотим таких. Кого в Париж посулом отправили? Капиталиста. Такой все посулит. Пусть вертается — тогда и говорить будем. Не пойдем!

Весело захлебывался жизнерадостный татарчонок: «Ай-ай, министра, ай-ай», добродушно, как только что упрасивал лошадей «кускать», — единственный весельчак, вертевшийся во все стороны, точно недавно оперившийся воробей среди серых и голодных галок.

## II

И снова лошади понуро шлепали по лужам. Снова у Гилярова из-под ног убегали стремена, и снова придвинулась новая «комитетская» изба, но с тем же запахом ржаного хлеба и махорки. И опять кто-то звал недовольно: «Гришка, где ты?» — и опять солдаты тащили табуретку, а вокруг нее смыкались кольцом такие же, как в Старорусском полку, сухо замкнутые глаза.

И снова самому себе слова казались никчемными, и снова и снова тянулись поля, взрыхленные снарядами, придавленные пушечными колесами, обмытые кровью, человеческой кровью, которую временно лишь смыли дожди, но которая вновь и вновь польется по ухабам, по колеям, по межам и на многие годы напоит землю — землю людскую, землю божью, землю ничью и всех.

А перед вечером Гиляров в аппаратной дивизии диктовал в полковые штабы о немедленном распространении по полкам его приказа о том, чтоб под угрозой военной силы полки складывали оружие и выдавали зачинщиков, и что если к семи часам утра не последует сообщения об исполнении, дивизия будет окружена и обстреляна.

К вечеру в штабе все притихло, как на мельнице, где вода уже не бьет через плотину и где замерли жернова в белой пыли от последних размолотых зерен. В столовой стыл суп, и тщательно свернутые салфетки лежали около пустых приборов; в задних комнатках маленькими группками сходились офицеры, а собравшись, подолгу молчали и только курили беспрерывно. Поджарый подполковник фон Гутлебен не рассказывал анекдотов из армянской жизни, на кухне прислуга глушила самовары, и самовары, понатужившись, замурыкали огорченно, — и только не переставая гудели полевые телефоны.

А в это время Третий драгунский обходил справа полки, а казачья сотня слева отрезала лес и проезжую дорогу к соседней дивизии.

Батарея не двигалась: артиллерийские представители вели за гумнами переговоры с комиссаром, и председатель их в разговоре нервничал и фуражкой крутил в воздухе.

### III

— Это торг? — спрашивал Гиляров и отстранялся от фуражки, которая все теснее наступала. — Я не намерен торговаться. Коротко: да или нет?

— Мы же вам говорим, — надрывался артиллерист, — что так нельзя.

— А как же?

— По домам, — вставил другой артиллерист, пожилой, с сектантским ртом, и чуть раздвинул губы, не то в усмешке, не то в улыбке. — По-божьему, как птицы.

— Зачем же вы сразу не отказались? — обернулся к нему Гиляров. — Для чего же вы сюда явились?

— Приказали выступить. Вот что. Дурачье приказало — дурачье пошло, — крикнул председатель.

— Вы ведь знали, для какой цели, — стараясь говорить спокойно, ответил Гиляров.

— Ну и знали! — дернулся председатель. — Что ж из этого? Там узнали, а здесь и знать не хотим.

— Ты постой, постой, — внушительно отстранил его пожилой и шагнул к Гилярову. — Вот что, товарищ. Знайки бывают разные. У вас одна знайка, у нас другая. Вчерась палили — нынче нет охоты. Сегодня пришли, — глянешь утром — нету. Значит, товарищ, ни при чем, что пришли. Пришли, да ушли. На то и люди, а не какая-нибудь животная. И у пушек своя знайка, по кому стрелять и по-каковски стрелять.

— Какая же сегодня знайка у ваших пушек?

Пожилой артиллерист на этот раз уже усмехнулся открыто:

— Верная, без ошибки.

— И правду знают?

— Увидите, — злобным криком сорвался председатель.

— Ну ты, ну ты, — остановил его пожилой и пошел за Гиляровым, проводить его, а на повороте, когда попрощался и сказал: «Спасибо, я найду дорогу», вдруг вежливо, не по-солдатски приподнял фуражку и спросил:

— А позволено будет у вас узнать, вы не из священнической семьи будете? А то есть такое хорошее церковное заявление.

— Какое, говорите. Я пойму.

— Да вот такое... — протянул пожилой и как будто застыдился, опустил ресницы, но внятно и важно произнес: — Никем же не мучимы, сам ся мучаху.

— Что? Что?

Пожилой вскинул глаза и, уже не отводя, в упор посмотрел на комиссара и серьезно и проникновенно повторил:

— Сам ся... Сам ся... Вот понапрасну.

Покатая спина пожилого давно уже пропала за гумнами, а Гиляров все еще стоял на тропинке и не чувствовал, как дождь накрапывает, как ветер подхлестывает и лезет, острый, за воротник.

В сумерках одна за другой потянулись пушки; гремели передки, подскакивали прикрытые брезентом дула, и никто не знал, куда они тянутся: дорога была одна и та же и к полкам, и к штабу корпуса, только за пригорком раздваивалась.

Полевые телефоны работали: «К мызе Больше один эскадрон... За Шонфильдом к северу»... Кружилась стальной карандаш прямого провода и требовал к себе комиссара экстренно, срочно, но комиссара не было; искали его долго, пока не нашли у капитана

Снитникова, а когда пришли за ним, капитан, приподнявшись, жаркой рукой цеплялся за Гилярова и говорил:

— Милый вы мой... Не надо пить до дна. Не надо, голубчик. Ни к чему. Последний глоток будет такой же черный и хмельной, как и первый. Бежать надо. К черту чашу. Да минует она... Не надо, голубчик, не надо.

— Сам ся мучаху? — с горечью спросил Гиляров и, пощадив горячие пальцы капитана, заторопился к двери, точно убежать хотел (от кого, от кого?) или сам спешил (к кому, к кому?), волнуясь встречей новой и неожиданной.

#### IV

К десяти часам вечера позвонили из Мухтанского полка: комитет вызывал комиссара для личных переговоров, соглашался сдать, но предварительно желал повидаться с комиссаром.

Подали крытую санитарку.

На дышле покачивался фонарь, подпоручик Разумный стягивал поясок и умолял взять его снова с собой. На крыльце стоял генерал и смотрел на отъезжающих. На его ярко вычищенные сапоги падал отсвет из окна, и та щека генерала, которая была к свету, рдела и наливалась густым лихорадочным румянцем.

Подпоручик дорогой молчал, только все старался разглядеть в темноте лицо комиссара, но не мог. А в душной избе, где, откашливаясь, жались друг к другу солдаты и при крохотном огарке под низким



потолком маленькие казались большими, а большие гигантами, где старуха латышка в печи шарила кочергой и что-то шамкала босоногой девчонке, подпоручик думал о том, что все страшно: страшно с этими и страшно без них, страшно жить и страшно умирать, и что нет ни исхода, ни выхода, что не часы проходят, а годы и что всегда, всегда будут сумерки в мокром поле и бескрайние поля в ночных шорохах.

Когда кончилось тягостное совещание и, не прощаясь, солдаты разбрелись, когда на обратном пути, в лесу, вдруг со всех сторон на санитарку посыпались камни, забарабанив по крыше, по бокам, и понесли лошади, и вдогонку раздался один выстрел, другой, третий, и мгновенная вспышка выхватила из темени несколько корявых стволов, кучу валежника и лоснящийся лошадиный круп, и запрыгала будка на колесах, точно лодка у водоворота, — подпоручик, сползая со скамьи на дно санитарки, закричал пронзительно:

— За что? За что?

Гиляров как сидел в углу, так и не пошевелился, но когда во все стороны завертелась будка, он встал, расставил ноги и затылком уперся в навес, как упирается человек, застигнутый в горах оползнем: упирается, стискивает зубы и молчит, потому что тогда равнодушны одинаково и бог наверху, и люди на земле.

Замелькали огни усадьбы. Гиляров по полу шарил руками.

— Подпоручик Разумный... Мы приехали... Подпоручик Разумный...

— Я не разумный, не разумный, не разумный, — твердил подпоручик. — Я не знаю, кто я... — И копошился под скамьей.

## V

До зари Гиляров сидел в аппаратной.

«Ду-ду-ду» гудели маленькие ящики, и телефонист в сердцах швырялся трубками. Над озером низко плыло большое черное облако, похожее на лебедя, и ширились его крылья — вот-вот ударят по воде.

В семь с четвертью сообщили, что Мухтанский начал сдавать оружие, а к десяти часам прошумел неугомонный дудец, что зачинщики Старорусского полка уже в районе Третьего драгунского.

Гиляров встал и попросил подать ему лошадь; согнувшись, теряя стремяна, он медленно отъехал от крыльца.

В окне, чуть отдернув гардину, в одном белье, стоял генерал и тяжело дышал; золотой крестик выбился наружу и зашуршал по шелковой фуфайке.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

### I

Покорный приказаниям центра, салон-вагон № 23 перерезывал всю страну вдоль и поперек.

С севера неся к западу, с востока уносился на юг. И на востоке барышня из Клина барабанила на машинке точно так же, как и на западе, и на севере

с той же аккуратностью, как и на юге, ставила номера исходящих бумаг. Со всех четырех сторон России летели по почте, по проволоке донесения Гилярова, то короткие, как условный пароль, то пространные; но и лаконические без лишнего слова и многословные с длиннейшими мотивировками — они говорили об одном.

И верстах в ста от Петрограда, и на расстоянии пятисот, тысячи верст они твердили одно и то же, и как похожи друг на друга дробинки одного заряда, так похоже было двадцатое донесение на сотое и сотое на трехсотое — об умолкнувших фабриках, о боевых генералах, уличенных в неверности республиканским идеям, о полках, отказывающихся воевать, о рабочих, прекративших работу на пушечных заводах, о беженцах, умирающих с голоду в богатом крае, о дезертирах, угоняющих паровозы от состава с амуницией, об офицерах, обвиненных в измене социализму, о резолюциях, принятых в окопах, о начальниках городской милиции, провозглашающих самостоятельные республики, о митингах над брустверами, о городских думах, выносящих свое неодобрение иностранной политике.

## II

Летели, сыпались донесения, без устали танцевали клавиши ремингтона, росла и увеличивалась груда копий, а рядом с ней другая — из указаний, распоряжений и циркуляров центра. И между копиями своих бумаг и оригиналами петроградских предписаний все

ниже и ниже гнулся Гиляров, словно сдавленный двумя яростными, мчащимися в противоположные стороны волнами.

И все чаще и чаще зеркальное трюмо отражало по ночам, рядом с ремингтоном, мирно спящим в своей жестяной коробке, маленькую настольную лампочку с картонным козырьком, лист бумаги и над листом осунувшееся лицо комиссара Временного правительства. И лицо это откидывалось назад к спинке стула, тяжело, напряженно, как будто кто-то, угрожая снизу, подносил к подбородку увесистый кулак, то вновь наклонялось к столу.

И не раз видело трюмо, как беспорядочно топтался карандаш на одном месте, как летел в корзинку скомканный в бессильной ярости лист бумаги с незаконченной фразой, как тоскливо, уныло сплетались пальцы, обхватывая то пылающий, то холодеющий лоб, и как беспомощно, с какой-то детской пытливостью, где слиты страх и надежда, останавливались глаза на темных провалах окон, за которыми расстилалась ночь, Россия и вечные судьбы той и другой с нерукотворными предначертаниями.

А по утрам барышня из Клина, машинистка с позитивным мировоззрением, нередко находила на столе листок, исчерченный зигзагами, завитушками, крестиками, квадратами и покрытый странными отдельными словами, из которых некоторые повторялись неоднократно, иногда одно за другим следом.

Приподняв иронически брови-ниточки, машинистка читала:

«Русь... Россия... Запад... Дон-Кихот... Центральный комитет... Так... Так... Так... Во имя... Во имя... Дон-Кихот... Выход... Исход... Выход... Конец... Конец... Казнь... Революция... Кнут... Революция... Резолюция... De profundis... Казнь... Конец... Сам... Сам... Будет... Будет... Русь... Рассея... Russie... Русь...»

Точно так же она пренебрежительно ухмыльнулась, как взрослый при детской глупой болтовне, когда случайно подслушала часть разговора между Гиляровым и неизвестным ей по имени генералом.

Было это в первых числах октября, в Карсе, откуда потом Гиляров и генерал уехали вместе на автомобиле в Эрзерум. Сперва они долго беседовали, запершись в салоне, и до машинистки, которую попросили уйти, только глухо долетал голос генерала, и только он один все время говорил, а потом они из салона направились в коридор, и машинистка юркнула в ближайшее купе.

Резко прозвучал басок генерала:

— Это мое глубочайшее убеждение. Иначе нельзя. Иначе крышка. Кто боится — пусть уходит.

И тихо ответил Гиляров:

— Я не боюсь, но я уйду. Вернусь и пошлю телеграмму. Но не изменится...

— Увидим, — перебил генерал. — Еще не поздно.

И еще тише сказал Гиляров, почти шепотом:

— Не знаю... Возможно. Я... ничего не знаю, я... все перестал понимать. Я... Я... с ума схожу. Вот... сейчас. — И, не dokonчив, комиссар ушел в вагон;

уходя, покачивался, хотя вагон крепко и неподвижно стоял на железном пути.

Генерал, звеня шпорами, направился к выходу.

Лавируя между рельсами, подкатил автомобиль, шофер распахнул дверцы, проревела сирена, вскоре еще раз. Генерал сидел в автомобиле и ждал комиссара; из-под низко надвинутой папахи зорко глядели холодные, бесцветные и круглые, как у хищной птицы, глаза.

Долго, долго не являлся комиссар, а когда на ступеньках вагона показались его ссутуленные плечи, с наброшенной поверх длинной кавалерийской шинелью без петлиц и погон, генерал еще более округлил глаза — и сразу они стали непроницаемыми.

Путаясь в шинели, Гиляров занес ногу на подножку; посторонившись, генерал сел глубже и вдруг улыбнулся: выгнув ладонь, Гиляров подносил руку к голове, отдавая честь, скрючив пальцы лодочкой.

### III

А дней через восемь, когда Гиляров вернулся из поездки по фронту, уже один, вялый, как осенний лист под забором, с просинью вокруг век, снова всю ночь отсвечивалась в трюме электрическая лампочка с зеленым козырьком.

И снова поутру машинистка нашла на столе бланк, испещренный ромбами, георгиевскими крестами, цифрами, контурами каких-то лиц, голов и словами, будто бы бессмысленными на первый, посторонний взгляд, но так значительно-жуткими — словами,

которые попадают на бумагу в те страшные минуты, когда мысли бьются, словно ночные бабочки вокруг огня, и когда бедное человеческое сердце не в силах ни принять их, ни уничтожить.

И она же, внешне спокойно, но внутри сгорая от любопытства и изумления, немного позже выстукивала на машинке заявление Гилярова о невозможности продолжать свою работу и просьбу прислать заместителя, ввиду того, что «веления моей совести не совпадают со взглядами и указаниями правомочных органов революционной власти, а посему...»

В этот раз машинистка уже писала не под диктовку, как обычно, а с черновика, и черновик был перемаран весь, и одни и те же фразы то зачеркивались, то восстанавливались, и буквы лежали криво, иные выпадали, оказывались внизу, точно быстро, быстро катились под гору.

Адрес Гиляров написал собственноручно, но долго сидел над конвертом; перед ним стыл чай, и Панасюк стоял за креслом; солнце заходило, вперегонки с поездом бежали вечерние тени: кто кого обгонит; машинистка шелестела бумагой. А в конце вагона, на нижней ступеньке площадки сидел старший проводник Сестрюков и тихонько, чтобы комиссар не услышал, играл на губной гармонии и тянул с короткими придыханиями одну длинную-предлинную мелодию, тоскливую, без изменений в начале, в конце, в середине.

И все-таки до Гилярова долетело.

— Кто это играет? — спросил он Панасюка.

Тот объяснил. Гиляров встал и с конвертом в руках направился к выходу. Машинистка, подождав немного, метнулась за ним, осторожно подошла к выходной двери, за которой после короткого перерыва снова жалобно заняла губная гармошка, воровски погнула дверь к себе и глянула в широкую щель: Сестрюков играл, а рядом с ним, так же свесив ноги на ступеньки, сидел комиссар и слушал. Как Сестрюков, покачивал в такт головой и размеренно рвал на клочки конверт, и оба — тот, кто играл, и тот, кто прислушивался, — одним и тем же взглядом следили, как ползут облака по верхушкам гор, как уносятся вдаль дрофы и как рдеют крутые склоны, покрываясь багряными отсветами — последними, осенними, усталыми.

#### IV

Перед джином Гиляров подал машинистке новый черновик и было там сказано коротко: «Прошу назначить заместителя, отказываюсь ввиду тяжелой болезни».

Машинистка не удержалась и ахнула. Гиляров услышал и подошел к ней.

— Это правда, — сказал он, — я очень болен. — И посмотрев на нее невидящими глазами, поверх ее лица, помолчав, добавил: — Я давно уже болен, но я не знал.

Телеграмма Гилярова в пути разошлась с пространной телеграммой — приказом из Петрограда о немедленном отправлении на Юго-Западный фронт,



ввиду критического положения Н-ской армии, и вместо того, чтобы ждать в Тифлисе приезда нового комиссара, как это было решено Гиляровым, вагон двинулся на Ростов.

Скомкав телеграмму, Гиляров пошел к коменданту переговорить о прицепе вагона.

Шел, спотыкался о рельсы, путался, в темноте натыкался на чужие вагоны.

Дождило, смутно маячили скупые, припавшие вплотную к земле одинокие огни сигнальных знаков, мычали быки, запертые в теплушках, по ногам била мокрая шинель, сумрачно выползали из тьмы пакгаузы, будки, холодом обдавал кривой дождь — и такой же холод и сумрак были в душе Гилярова, и такая же темнота обволакивала сбившиеся, спутанные мысли о том, что и впереди один и тот же путь: склизкий, бесприютный и бесконечный.

## V

В дороге между Минеральными водами и Дербентом вагон завяз на маленькой станции: началось восстание таинственных, неведомых Гилярову абреков. Полыхало оно в глубине края, но один из отрядов, случайно подошедший к железнодорожной линии, на всякий случай взорвал ближайший мостик.

Сотни пассажиров забили крохотную станцию доверху; потом, пока успели предупредить, подошел еще один тифлисский поезд, за ним — следующий.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

### I

Между двумя холмами, — одним невысоким, узловатым, похожим на перевернутый дуб, и другим — кругобедрым, голым — шумно, крикливо, сумбурно, то на минуту затихая, то снова с утроенной силой разгораясь, зажила внезапно потревоженная станция.

Ушла, исчезла бледно-желтая тишь опадающих листьев, деревянная платформа загудела под ударами бесчисленных ног, как некогда в лесу гудели под ветром молодые сосны, из которых она была сделана. Замелькали мундиры, мохнатые бурки, черкески, красные башлыки, пальто, шляпы, котелки и бараньи остроконечные шапки. Зазвенели шпоры, выгнутые шашки, зазвучали грубые, нежные, хриплые, сердитые, взволнованные, веселые, прищамкивающие, старческие, детские и девичьи голоса, и друг дружке в затылок, точно при перекличке, стали вагоны, в последний раз лязгнув буферами и проскрипев колесами.

К концу с надписью «Телеграф» ринулись десятки людей, другие десятки — к начальнику станции, но вскоре те и другие вернулись: стало известно, что раньше четырех-пяти дней нечего и думать о дальнейшей поездке.

Минут через десять в буфете уже все было съедено и выпито: толпа вплотную облепила столы и, как саранча, поднявшись, оставила место пусто и голо; по тропинкам к соседним уровням потянулись чающие хлеба.

Вечером за водокачкой пели солдаты; сперва о богачах, жадно пьющих кровь, а потом задушевно, грустно о тумане, павшем на море, и чей-то тонкий-тонкий голос волнуяще спрашивал:

Скажи, о чем задумал,  
Скажи, наш атаман!..

Кое-где в вагонах играли в карты, по платформе разгуливали парочки, но везде — и за картами, и между песнями, и после старых слов о страсти, о прекрасных женских ручках и о том, как отрадно знать, что ты не один, даже в чужих горах, — говорили о дороговизне, о буржуазии, о том, кому из руководителей можно верить, кому нельзя, о социализме, о необходимости переустройства всего мира, о рабстве, о том, что партийные вожди подкуплены немцами, о смертной казни, о капиталистах, губящих революцию, о разгромленных имениях, о рабочих, предающих родину, о голодающих мужиках, о жалованьи.

И тот, кто одних ругал, а других хвалил, и тот, кто обвинял и первых и вторых, и тот, кто никого не одобрял, — все, и робкие, и храбрые, и обойденные, и неудачники, невысказанными словами мечтали о тишине и покое, и каждый думал о себе, что он больше всех устал, что больше всех пострадал за Россию, за человечество и мир, и скорее, чем кто бы то ни было, вправе отдохнуть, успокоиться. И каждый не верил другому, и каждый каждого ловил на себялюбии и упрекал в отсутствии любви к стране, но всем было одинаково жутко, все одинаково тревожно

переживали свои часы. И, как бывает часто, меньше всего думали о том, что тут за спиной, — о восставших абреках, — и не это страшило, и не взорванный мост пугал, а то, что дома по-прежнему не будет ни тишины, ни отдыха.

Еще кто-то смеялся, еще кто-то шутил, кто-то любовался поздними осенними переливами по холмам и чувствовал всю нежную тихую печаль дальних очертаний гор в золотисто-пепельной дымке, еще кто-то говорил о Боге, о любви неумирающей, еще были губы, отвергавшие хулу и проклятия, — но, словно самая крошечная капля, они, одиночки, не ведающие, как пленительны они в своем одиночестве, терялись и пропадали в одной огромной человеческой волне горя, злобы, страдания, корысти, иступления, ненависти, зависти, жадности, скупости и жути.

## II

На третий день соседняя станция по ту сторону моста — ближе к Дербенту, к России — перестала отвечать.

А к вечеру 15 октября из Минеральных Вод сообщили, что в Петрограде восстание, что вся Москва в огне, что убиты члены правительства, и несколько немецких конных корпусов, клином врезавшись в Северный фронт, захватив Валки, Псков и Юрьев, спешно двигаются на Петроград.

Сотни фигур заматались по вагонам, по перрону, по насыпи, по рельсам. Стемнело — и они разбрелись

по своим местам и притихли, но света не зажигали. И уже слышались предостерегающие голоса: «Тише, тише!» — и уже бормотали: «Дожили... Дожили...» — и беспокойно советовали офицерам снять на время погоны.

В окнах первую класса женские руки торопливо задерживали занавески. Все чаще и чаще боязливо раздавалось: «Кто тут?» — и чиркала спичка, выхватывая из темени то клочок волос, то часть лба, то беглый взмах испуганных ресниц; осторожно шаркали ноги, и, когда кто-нибудь поднимался, чтобы выйти из вагона, ему бросали тревожно: «Куда вы? Куда вы?» — и вставший покорно, не раздумывая, садился вновь, и вскоре уже сам окликал других вздрагивающим голосом. И все думали только о том, почему тихо за водокачкой, где обычно собирались солдаты, почему песен не слышать об атамане, что-то задумавшем, о штыках, привинченных к ружьям, и почему не горит костер, на котором они всегда варили себе похлебку. Сидящие у окон старались в окна не глядеть, но, не удержавшись, отгибали край шторы и, откинувшись назад, издали пытались разглядеть. Но и на платформе было глухо, пустынно и темно, только светилось окно телеграфа. Там два генерала, оба седые, оба высокие, сидели по бокам стола и молча смотрели, как разматывается под колесом бумажный моток, как ползут, словно трудолюбивая муравьиная рать, черные точки-тире. Нагибались, прочитывали, посматривали друг на друга, — один бровями шевелил, другой покусывал кончики усов, — и снова, не проронив ни слова, выпрямлялись.

### III

Гиляров лежал у себя в купе и дремал.

Когда машинистка постучалась к нему, он сперва не отозвался, поморщился и промолчал, но машинистка стучала настойчиво, и Гилярову пришлось встать, отбросить задвижку.

И снова барышня из Клина изумилась, и снова поразила ее Гиляров, но уже так, что она не скоро пришла в себя — и как подшибленная убралась из купе, где Гиляров в ответ на то, что она ему передала, в ответ на невероятнейшее сообщение, после которого, убежденно думала барышня из Клина, Гиляров должен был бы содрогнуться, закричать, или принять, как это бывает, как об этом пишут в книгах о Великой французской революции, какое-то немедленное, исключительное решение, или, наконец, застонать, — сказал лишь одно, и сказал спокойно, даже равнодушно: «Вот как», и опять лег, попросив только дверь прикрыть.

Покинув купе, машинистка тут же в коридоре расплакалась. Была она хроменькой, припадала на левую ногу; в Петрограде на собраниях она постоянно заявляла, что «нам нужны две революции: политическая и социальная». Говоря, не могла усидеть на месте, расхаживала, и тогда при слове «политическая» левое плечо медленно опускалось вниз, а при слове «социальная» оно стремительно и победоносно летело вверх.

А сейчас оба плеча ходуном заходили.

И долго и горько плакала барышня из Клина, и сама точно не знала почему: потому ли, что обманули

ее Арну и Блос, потому ли, что в коридоре было так холодно и так одиноко.

Ночью прогремел выстрел, откликнулся другой, и машинистка, присев на койке, подумала с ужасом: «Началось», как с тем же ужасом вскочили и в других вагонах, как одна и та же дрожь охватила всех — полусонных и сонных, дремлющих и бодрствующих, — и впотьмах беспомощно забилась маленькая человеческая мысль о том, что все рушится, что смерть идет, и почему, боже, я, умный, хороший, должен погибнуть.

Не спал и Гиляров.

При первом выстреле он подошел к окну, потянул вниз раму, — и повеяло ночной свежестью, и были в ней умиротворяющая чистота и сладкая благодать, как от прикосновения родимых рук в час безнадёжной болезни.

И не потому ли и выстрелы, и заметавшиеся по платформе одиночные силуэты показались столь незначительными, столь несущественными, как круги от внезапно брошенного камня на безупречно ясной поверхности мудрой водной глади, знающей, что никакими камнями не замутишь сокровенной глубины?

#### IV

Уже давно отзвучали случайные выстрелы, и уже попрятались по своим укромным уголкам на миг ошарашенные — на миг, чтобы снова при любом шорохе сорваться, а Гиляров все стоял у окна. И так же ровно, как ровно за холмами возникал рассвет,

неторопливый, как молитва, и, как молитва, успокаивающий, думал о том, что не смерть страшна, а путь пройденный, путь в самом начале неверный, путь уже неисправимый, где не те вехи ставились, не те зарубки заносились, где уже поздно, поздно равнять выбоины, метить новые заметы, и что смерть будет незаслуженным даром нерадивому, и что надо встретить и принять ее просто и тихо.

Поутру новая телеграмма из Минеральных вод сообщила о вздорности вчерашнего известия.

Опять загудела платформа, и снова по тропинкам змейками зашевелились ходоки за молоком, за хлебом, голодные, но повеселевшие. И машинистка на радостях напудрилась — очень она пожелтела за ночь — и за чаем усиленно-звонким голосом спросила Гилярова, как ему спалось, и добавила при этом, что она спала восхитительно, точь-в-точь как малюсенькая девочка, как будто под крылышком у няни, а не в дни революции, когда...

Еще немного — и вскинулось бы левое плечо, утверждая строго и неуклонно, что нам нужны две революции, но комиссар рассеянно поглядывал в окно и жевал губами, точно старик после ночных ревматических припадков.

И не знала машинистка, что нет уже для него ни настоящего, ни будущего, а только одно недавнее прошлое, в котором он раз навсегда и безоговорочно прочел для себя: «И ты, и ты виновен», и ждет после приговора нужного и должного наказания, ждет безропотно и покорно.



День разворачивался солнечный, совсем не по-осеннему молодой. В салоне в чехарду играли зайчики, в зеркальном трюмо, как в пруду от ракушек, опрокинулись узорные тени привокзальных каштанов, и поблизости женский голос негромко, но затаенно ликуя пел:

Прощай, хозяин дорогой,  
И я пойду вслед за водой,  
Да-ле-ко... Да-ле-ко...

Не докончив завтрака, Гиляров вышел на площадку — с той стороны, где песня казалась ближе. Комиссар любил пение, и когда-то — это было несколько лет тому назад — он в Италии, в Сан-Ремо, услышав уличную певицу, потом весь день ходил за ней по пятам, от одного отеля к другому, и только сумерки помешали, а то бы шел за нею без конца, безотчетно, как, купаясь в море, безотчетно тянешься за белыми гребнями. А вот в эту минуту, быть может, дальше своего вагона и не двинулся бы, как бы ни манил к себе завлекающий голос, но ближе к пению все же хотелось быть. Ближе — и подальше, хотя бы на миг, от окончательной и бесповоротной мысли о тусклом и беспросветном завершении своего круга: ведь и самоубийцы невольно рады ничтожной временной помехе, когда то мышшь заскребется у ног и отвлечет внимание, то сосед за стеной затянет песню о счастливом корабейнике.

Но, открыв дверь к ступенькам, он на нижней увидел перед собой женщину в белом, и огромная шляпа с широкими полями, с горстью васильков сбоку

очутилась у него как раз под подбородком, заслонив лицо пришедшей.

— Чей это вагон? — спрашивала женщина. — Ради бога, чей это вагон? — И поднялись васильки, и под ними показались белокурые волосы, глаза взволнованные, узкие, но большие до странности, и в вырезе платья худенькая, по-девичьи поставленная шея. Но и васильки, и волосы, и глаза одинаково были поблекшие, точно долго-долго над ними носилась пыль. Только назойливо выделялись слишком ярко-красные губы.

— Мой, — ответил Гиляров.

Губы дрогнули и сразу стали такими детскими, такими неуверенными, даже помада тут же улетучилась.

— Ваш? — И замерли растерянно бедные, дохленькие васильки.

## V

Когда Гиляров взялся за перила, васильки опять встрепенулись, точно набрались храбрости.

— Ради бога... на одну минуту... Можно, можно войти?

Гиляров посторонился.

— Пожалуйста. Дверь справа.

— Я знаю. Я знаю, — нетерпеливо отозвалась пришедшая и побежала к коридору, но вдруг комиссар услышал ее громкий крик. Обернувшись, Гиляров увидел, что она, в дверях столкнувшись со старшим проводником Сестрюковым, ловит его за плечи и тянет к себе:

— Сестрюков, милый... Господи, и ты тут?.. Не узнаешь, — не узнаешь меня? Милый, не узнаешь?

Сестрюков, оторопев, уронил ведро с углем. Женщина плакала; качались запыленные мертвые васильки.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

### I

Без шляпы, без жакета, в беленькой, с простенькими прошивками блузке, а рукава, как у гимназистки, кончались манжетками; она на ученицу, так класса шестого или седьмого, и была похожа. Полуплача, полусмеясь, она перебежала от окна к окну и в шифоньерках выдвигала ящички, и непонятным казалось, почему косы лежат коронкой поверху, а не извиваются по спине. Жадно она никла к ящичкам, словно искала в них сласти, как дома, после надоевшего дня в гимназии, после «а—b—с» и династии Меровингов, в старом оливковом буфете разыскиваешь, чем бы полакомиться, и боишься, как бы бабушка или старая тетка не застала на месте преступления.

И как порозовели кончики ушей, когда в одном из ящичков она нашла круглый беззубый гребень.

— Мой, мой гребешок. Уцелел. Посмотрите. — И она показывала Гилярову и через плечо кричала Сестрюкову: — Погляди... Сестрюков... Я его узнаю. Мне казалось, что я его в Харькове на вокзале потеряла. Помнишь, Сестрюков, — это когда мы

в Харькове бежали с тобой в буфет за пирожными, а ты меня торопил: «Барышня, опоздаем». Помнишь, ты тогда меня на руки схватил. Я барахталась... Кричала, что я уже большая. А ты мчался сломя голову и налетел на какого-то офицера. Помнишь? Помнишь?

Сестрюков мотал головой и все еще не мог прийти в себя, все еще не верил, что перед ним генерал-губернаторская внучка, барышня Тоничка, за которой ежегодно в Питер отправлялся вагон, а старый генерал-губернатор в шелковом расписном халате каждый раз накануне поездки призывал к себе проводников, подносил им по стакану добротного сиба-чашмы и по золотому в придачу и просил внучку беречь, чтобы, упаси боже, под колеса не угодила.

— А Прохор где? Ты, может быть, знаешь? Где он теперь? А ты помнишь его?

— Как же, — откашливаясь, говорил Сестрюков. — Как изволили представиться его высоко...

Сестрюков осторожно поглядел сбоку на комиссара, который стоял сгорбившись неподалеку от трюмо, и, малость запнувшись, продолжал:

— Как скончались ваш дедушка покойный, то и Прохор вскоре помер.

— Умер? — Она бросила гребенку и тут же над выдвинутым ящиком заплакала и сквозь слезы говорила Гилярову: — Простите... Но я не могу. Я его так любила. Он мне и сказки рассказывал, и спать укладывал. И он же мне говорил, что быть мне несчастной, если мало молиться буду. А я много молилась. И все же... Он как няня был. А этот вагон.

Вы не поверите, но я каждое утро тихонько целовала его. Вот здесь, видите, вот слева от дивана. Раз навсегда отвела место. Точно на лице, где есть любимое место. Все лицо любишь, а все же есть уголок милее всего. Когда я сегодня увидела его — я сразу узнала. У меня сердце остановилось. Мой голубенький вагон. Я и ступеньки узнала, и окна, и крышу. Побоялась поверить, даже отошла. Но тут увидела номер и бросилась к нему. Другие так на вокзале встречаются с людьми близкими. Вот едешь — и вдруг такая неожиданная, такая чудесная встреча. А я встретила с ним... Я совсем одна, никого у меня нет. Ну, да ладно. А тут вот, левее... Тут я однажды написала стихи. Я была очень глупенькой и стихи сочиняла. Теперь я не сочиняю, но поумнела ли — не знаю. Вот тут. У меня был маленький перламутровый ножичек, и я вырезала. Вот тут я целое утро...

Она отвела в сторону гардину крайнего окна, нагнулась и тотчас же откинулась назад:

— Все сохранилось. Господи! Как это чудесно и как это больно! Миленький, миленький, — тянула она Гилярова за рукав, — посмотрите, все сохранилось. Прочтите мне, прочтите. Я сама не в силах.

## II

Зажмурившись, она слушала, как Гиляров неуверенно, еле-еле разбирая каракули, читает.

И так, стоя с закрытыми глазами, вслед за ним повторяла про себя:

...Я люблю тебя, как Бога,  
Если б не было бы Бога —  
Умерли бы все души...

— Если ты меня покинешь, я умру ... — читал Гиляров.

— Я умру... Голубенький... — медлительно и серьезно, точно жалуясь на большую, ни за что ни про что нанесенную обиду, твердила и она.

Гиляров обернулся к ней: она все еще стояла с опущенными ресницами. Солнечные лучи крест-накрест обняли ее, белую, тонкую и порывистую, и как бы приподняли с полу, вот-вот собираясь унести. Но те же лучи явственно показали, что юбка потерта, что туфли беленькие в заплатах, а белокурые завитки утомленно, как у больной, пробиваются у висков и точно липнут ко лбу.

«Зачем она губы мажет?» — досадливо подумал Гиляров.

— Все души, — еще раз повторила Тоня и вскинула глаза на Гилярова. — Если б не было бы Бога... Это правда?

Гиляров молчал.

Тоня, покраснев, потянулась к жакету, и от краски еще моложе, еще более девичьим стало ее лицо, а приколола шляпу — сразу все юное, трепетное и чистое сгнуло.

И вновь стояла перед Гиляровым неверная женщина, хотя и с зовущими губами, но поблекшая и уставшая — облик, какой встречаешь на рассвете в ночном ресторане с дутыми мавританскими колоннами, у кадушки с высохшим филодендромом, когда

линолеум липок от пролитого ликера, и окурки противно пристают к подошве.

Уходя, она только сказала «спасибо», а уж с перрона вдруг крикнула в окно:

— Господин комиссар!

Гиляров глянул в окно.

— Я хочу вам сказать.

— Слушаю, — проговорил Гиляров.

— Я хочу попросить вас... Ничего... — махнула она рукой и отошла. Белое платье исчезло за мохнатой буркой, потом вынырнуло за красным башлыком, снова показалось вдали — и потонуло в крикливой, галдящей, движущейся взад и вперед толпе. Долго не отходил Гиляров от окна, все ждал, не мелькнут ли васильки на желтой соломенной шляпе с нависшими полями, под которыми словно нарочно удлинённые глаза так часто и так удивительно меняются, то притягивая к себе, то отталкивая, как вот сразу оттолкнули накрашенные губы. И опять подумалось: «Зачем это она... напрасно», и внезапно потянуло к нацарапанным строчкам в углу — снова на них взглянуть, снова прочесть о том, как без Бога умирают все души, прочесть и — что? Посмеяться над собой, над своей неожиданной чувствительностью, глупой, вздорной, или заново при этом вспомнить и ясно представить себе, как вот несколько минут тому назад светлела в утренних лучах девушка вся в белом, в заплатанных туфельках, и грустно говорила о том, что она умрет, если ее покинут?

И хотя морщился Гиляров, но все же прильнул к кривым строчкам.

### III

А в обед Сестрюков иноходцем рыскал по платформе, суетливо шмыгал по вагонам и все искал «барышню Тоничку». Ту самую, дед которой, хоть и в халате, а генерал-губернатор, своими руками угощал вином и просил, как просят родного, присматривать за внучкой. Всюду шарил, и наконец нашел ее и доложил, запыхавшись, что комиссар покорнейше просит пожаловать к обеду. А уже от себя шепотком добавил, что комиссар человек хороший, редкий, не похожий на всех прочих из нынешних новых вылезалок, совестливый, что не след отказываться барышне Тоничке пообедать в «нашем вагоне» и что для этого он, Сестрюков, уже раздобыл в кладовке тот самый приборчик, что некогда служил Тоничке.

— Синенькие тарелки с золотыми каемками? — спрашивала Тоня, смеялась, а ладонью все же заслонилась от Сестрюкова, будто солнце жгло.

Точно таким же шепотком, после того как Тоня пообещала ему прийти к вечернему чаю и ушла к себе, он докладывал Гилярову о том, что барышня никакого места для себя в третьеклассном вагоне не имеет, что приходится им бог знает где сидеть, на торчке, что воздух там густой, людей напихано, как на свадьбе, все больше мужичков и солдат, не говоря уже о татарах с длиннющими ножами, и по всему видать, что барышня по ночам не спит по причине малого места, а едут они в Харьков, точка в точку по дороге с нами. Рассказывая, умильно и заискивающе



заглядывал Гилярову в рот, как собачонка, которая прибежала к хозяину, чтоб потащить его туда, где другая собачонка лежит с перебитой лапой, — и говорил всеми своими движениями, умолял растроганными морщинками вокруг вспотевшего лба, упрашивал растопыренными реденькими усами: «Ну, вымолви заветное слово, ну, прикажи же»...

К чаю Тоня не пришла, и напрасно Сестрюков дважды разогревал самовар и даром дежурил на площадке. Шпоры звенели, и брякали кавказские шашки, но не окликал милый голос: «Сестрюков, это ты?» — а Сестрюков ждал, все не верилось ему, что Тоничка не придет: ведь слово дала. Правда, за обедом она почти звука не проронила, как будто не по себе ей было, но, уходя, она все-таки еще раз сказала, что не обманет, придет, а вот уже и народ на перроне редееет, и давно второй самовар заглох, еще немного — и огни зажгут.

Не выдержал Сестрюков и сбежал — в поиски.

В вагоне на Тонином месте два татарина, разложив платочек, ели овечий сыр, на Тонином чемодане дымились чужие кружки с кипятком.

Лишь к поздним сумеркам Сестрюков разыскал Тоню за плетнем привокзального садика, там, где над сваленными шпалами нависал дряхлый дуб.

Обрадовался Сестрюков, даже оторопел от радости, но не пошла с ним барышня Тоничка, на все уговоры отзывалась молчанием. На коленях у нее багряной горкой лежали опавшие листья, и она их перебирала руками, только всего, а обмолвился, между

прочим, Сестрюков «наш вагон», она вскочила и крикнула ему: «Не смей так говорить, это не мой вагон, не мой, ничего у меня нет, я все растеряла». Но тут же попросила ласково, совсем как в те времена, когда по вокзальным буфетам носились за кремовыми трубочками: «Иди, милый, оставь меня», а замешкался Сестрюков — она топнула ногой:

— Уйдешь ты, наконец?

Но тотчас же побежала за ним, воротила, говоря:

— Не сердись на меня, — и усадила рядом с собой. — Сиди, сиди, только не зови меня туда. Я дурная, понимаешь, я очень дурная. Ты ничего не понимаешь. Старый ты мой проводничок. Я не смею... в тот вагон. Мне стыдно перед его зеркалом стоять, видеть себя в нем. Там ведь я осталась прежняя, и зеркало меня другой запомнило. По утрам я подходила к нему, глядела и у него спрашивала, хорошо ли на мне передник застегнут. Я была чистенькой, скажи мне, проводничок, — я чистенькой была? А теперь я вся, вся замаралась. И не зови меня, пожалуйста. Ты ничего не понимаешь, ничего не понимаешь, потому что ты уже сморчок, а я уже не Тоничка. На, развеселись, поиграй!

И сгребла она листья и кинула ему пригоршню, а сама стала насвистывать, покачиваясь, но свист был нарочитый, вскоре прекратился.

По-старчески шелестел дуб, точно перелистывая пожелтевшие страницы стариковских записей, брюзжал над тем, что молодое старится, а старое помереть должно.

## IV

Гиляров, проходя мимо купе проводников, услышал, как, тяжело кряхтя, рассказывает Сестрюков младшему своему товарищу:

— И подумать только, что с барышней нашей сделалось. Ищу, ищу, — нету их, а самовар канючит. Ищу, ищу, а нигде не видать. Дикий-то человек, в соседях у барышни, и говорит мне: «Уехался». Куда, говорю, дурень без рельсов поедешь. «Уехался», — говорит и гогочет. Без сил остался, пока заприметил. Сидят себе у возле садика и молчок, молчок. Я упрашиваю христом-богом: пойдем, миленькая ты наша, самовар растренькается, с огнем оставил, а она мне такое отвечает, что и знать не знаю, как мне быть. Одно чувствую: смяга во рту. Ведь как домой, говорю, зову, а она мне про зеркало такое невозможное, что хоть плачь.

Гиляров остановился — и не морщился, как днем, читая наивный стишок, много лет тому назад выведенный детской рукой, — рукой, которая теперь уже иная, но пальцы чьи живут, как самостоятельные, совсем отдельные живые существа, и, промелькнув раз-другой, не исчезли из памяти, а запечатлелись в ней, как оттиск в мягком воске, запечатлелись вопреки желанию того, кто их увидел, даже словно на зло, наперекор.

А может быть, во благо, может быть, для последнего необходимого указания?

Вот, вот так они шляпу прикалывали и чуть-чуть трепетали, будто оскорбленные, когда он не отвечал

на ее вопрос: правда ли, что без Бога умирают души людские? А вот так они скользили по платью, когда лучи перекрестили ее, а за обедом они едва-едва шевелились, точно их испугнули, и они притаились, точно украдкой взирая на свет Божий.

И даже поближе стал Гиляров, чтобы явственнее разобрать сетующее бормотание Сестрюкова, но тот приумолк и засопел только: возможно, что сапоги снимал натужно, а возможно — слезы глушил.

В окно, подплыв, глянула луна, и по коридору протянулся зыбкий след. Гиляров одернул на себе френч и вышел на платформу.

Свежело, у водокачки догорал костер, в хвосте поезда неосвещенные вагоны стояли понуро, точно быки, застигнутые ночью в степи, а две-три фигурки, маячившие у огня, казались погонщиками.

Гиляров прошел внутрь вокзала — там на весах дремал седой железнодорожник с веником в руках, на оголенной буфетной стойке усиками пошевеливали прусаки и карабкались по забытым пустым бутылкам. Гиляров снова направился к платформе и круто повернул к садику.

Но белого платья там не оказалось.

Вскоре Сестрюков, на ходу натягивая куртку, спешил к Гилярову; второй проводник недоумевал, что это вдруг в такую пору понадобился Сестрюков комиссару.

— Так вы сказали, что она в Харьков едет? — спрашивал Гиляров, старательно поправляя зеленый козырек лампы.

— Точно так! — отвечал Сестрюков и глаз напряженных не отводил от комиссаровского лица, вцепившись в тайной и бодрой надежде.

— В Харьков, вы говорите. Вот как... А нам надо в Екатеринослав.

— Барышня могут и от Екатеринослава повертаться, — посмелев, подсказал Сестрюков, и сам же обомлел от своей смелости.

— Все можно и ничего нельзя, — проговорил Гиляров и сломал козырек, надавив слишком.

## V

Сестрюков потупил глаза, но не надолго: мигом ожили они, и если, действительно, глаза человеческие могут улыбаться, то они не только улыбнулись, а расплылись одной сплошной улыбкой и рассмеялись счастливо, когда Гиляров, отбросив куски смятого картона, привстал и молвил:

— Вы найдете ее вагон? Проведите меня.

И не менее счастливым говорком покрикивал Сестрюков под окошком Тониного вагона:

— Барышня Тоня, а барышня Тоня, — и возбужденно кивал Гилярову, стоявшему позади. — Сейчас отзовется, Петр Федорович, сейчас отзовется, одну капелюшечку.

В окне забелели рукава.

Сестрюков отошел в сторону — что ж, загляделся на остаточные угольки костра, а такие же угольки перекатывались по собственному сердцу и грели и грели...

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

### I

Уже поздно ночью Сестрюков перетаскивал Тонины свертки в салон-вагон, а она шла рядом и говорила:

— Зачем, зачем я только согласилась?

В купе, отведенном для нее, где уже постель заранее приготовили и столик покрыли салфетками из уцелевшего министерского добра, она не переставая твердила:

— Зачем? Зачем?

И не пожелала прилечь, как ни уговаривал Сестрюков, и не верила ему, что это сам комиссар надумал, а не он подстроил:

— Ты меня обманываешь, Сестрюков. Это нехорошо. А еще старый друг. Вот ты какой. Не лягу, пока ты мне правду не скажешь. Не приставай, не буду спать. — И вдруг обхватила его шею, целуя бурые щеки. — Ой, только не горюй — буду, буду. Лягу, лягу. Вот уже легла, видишь. Вот уже сплю. Как хорошо: подушка, удобно, никто не курит — как дома. Да-да, я дома. Это мои каникулы. Я уже шесть ночей не ложились. Все сидя дремала, то на одной скамейке, то на другой. Как странница — без места, без ночлега. Я и есть такая... Тучки небесные, вечные странники... Но я не тучка. Я... Они по небу бродят, им хорошо. А я по земле. Иди, иди. Тебе спать надо много-много, я тебя сегодня так утомила. А больше не буду. Вот увидишь завтра:

добренькой буду, а ты мне завтра расскажешь, как ты жил, где ты бывал. А там, где я, где дедушка, где арбакеши кричат, ты ни разу больше не был? И фазанов больше не видел? И не ел хандалек? Ты уже все забыл? Так ты уже совсем как бабай — старенький.

Перед уходом она попросила его прикрутить электричество, повынимала гребни — косы упали.

И так лежа в потемках, руки за голову забросив, отчего сразу всему телу стало легче, точно свалилась с него сухая короста, она думала о чуде, что осенило ее так неожиданно и так просто, бесхитростно встало на ее пути сегодня, когда еще вчера путались тропинки, и по-обычному все до одной были не свои:

«Вот я опять в голубеньком. Вот я опять с ним. Как все странно. Революция, война, а я все-таки с ним. Это настоящее чудо. Боже, значит, на земле еще есть чудеса? А если одно пришло... Может ведь и другое прийти, и я отдохну. Может? Опять я с голубеньким. Могла ли я думать? Могла ли я ожидать? Тогда я спала в первом купе справа. А думка моя потеряна. Я все растеряла. Кто там теперь? Он? Комиссар? Он как будто больной. А лоб у него высокий, как у дедушки. Он когда-нибудь улыбается? Машинистка тоже революционерка? Как она за обедом следила за мной. Она постоянно улыбается. Нет, это не улыбка. А он? Никогда? Чудно: ко-ми-с-сар. — Это слово она произнесла вслух, разбивая по слогам. — Почему он мне предложил перебраться? Ведь я ему чужая. Сестрюков не лжет. Или пожалел? Значит, я очень жалкая, и каждый может сразу

заметить, что мне плохо, что в октябре я в белом платье и надо меня пригреть? И я еще в соломенной шляпе. Не хочу я жалости, не хочу. Вот прямо я и скажу ему: не хочу. Господин комиссар, я не хочу, чтобы вы меня жалели. Мне совсем... не так худо. Ну, из миниатюры я, ну, пою я скверные песенки. Ну, актриска я. Да-да, актриска, а не артистка. Так в Ростове мне поручик Рымгайло крикнул: пей, пей, актриска, нечего жалеть себя, все окачуримся вскорее, время такое, все на том свете будем. Он уже там — злой и несчастный. А я...

Она насторожилась, приподнялась: в коридоре раздались шаги.

— Это он. Я ему должна сказать. Сегодня же. Пусть он не думает.

## II

Она распахнула двери и, забыв, что волосы не в порядке, что косы по плечам пущены, вышла в коридор: сонно, никого нет, на окнах шторы натянуты, а вот только в раскрытом салоне что-то блестит, что-то отражается издали, будто ручей пробежал.

И на отражение пошла Антонина Викторовна Ашаурова, по паспорту дочь гвардии полковника, двадцати трех лет от роду, по сцене Викторова, когда-то девочка Тоничка, институточка с нарукавниками, а ныне артистка батумского театра миниатюр «Ренессанс», где зимой пела о том, что «есть у меня один секрет», потом весной читала солдатам-фронтовикам «Каменщик, каменщик, что ты там строишь»,



а после «Каменщика» танцевала танец ковбоев в сомбреро, в стоптанных сапожках и красном шейном платочке поверх мужской пикейной рубашки, в паре с веснушчатым премьером, у которого зубы гнили, и потому дышал он в лицо креозотом.

Пошла на отблеск и лишь на пороге догадалась, что это зеркальное трюмо светится. В одном окне штора была приподнята — струились по зеркалу колеблющиеся лунные пряди; за облако пряталась неумемная луна — зеркало темнело, но тотчас же снова и снова тянулись пряди, будто бесконечные, бесконечные, будто живые и в то же время неживые, неведомо куда стремящиеся, как вода проточная с гор: по камням, по ложбинкам, по песку, все вперед, вперед. Но куда, куда?

Тоня подошла поближе, но робким шагом: так с огромной душевной боязнью тянешься к заветному, не можешь не тянуться, но опасаясь, не встретят ли тебя с укоризной, тебя, кого от заветного отринули и отбросили в противоположную сторону.

Еще ближе — и встала перед зеркалом во весь рост.

— Здравствуй, зеркалю, — сказала она. И молчаливый вечный свидетель, как всегда невозмутимо, принял еще один подошедший к нему лик.

— Узнаешь? — спросила Тоня и даже подалась вперед, как за ответом желанным, а в этот миг луна зацепилась краем за облако, побежала вниз темная полоска, переломила зеркало на две половинки — нижнюю вглубь погнала, верхнюю выдвинула — и точно кивнуло зеркало: да.

Тоня ахнула и прикрылась руками, а когда отняла ладони — все лицо изнутри горело целительным огнем.

— Милое, милое ты мое зеркало. Хорошее ты мое.

И, подвигая к нему кресло, говорила:

— Я посижу с тобой. А ты погляди на меня. Погляди, какой я стала, как мне нехорошо...

### III

Как некогда, как бывало в незабвенные, безвозвратные дни кремowych трубочек, обильных слез над утащенным томиком «Обрыва», сувениров от подруг, засушенных цветов, нансеновского «Фрама», писем дедушки о том, что в саду удачно взошли азалии, стихов об ангеле, который душу младую в объятиях нес, и рассказов Прохора о солдатских представлениях «Черта, мельника и колдуна»; уместилась в кресле с ногами, глубоко ушла в него и кожаной, надежно-просторной спинкой отгородилась от всего.

От всего — и от пляски ковбоев, и от мебелирашек с запахом кофейной гущи и посапыванием коптящего примуса, и от летних садов с куплетистами, с мраморными столиками, к ночи испещренными скабресными рисунками и надписями, со зрителями, похожими на лакеев, и лакеями, похожими на жуликов. И от ротмистров, угоревших в кровавом дыму и угарный возобновляющих на отдыхе, и от отдельных кабинетов с пробуравленными дырками в дощатых стенках, с тепленьким шампанским, допущенным высоким покровительством меценатствующего пристава.

И от мартовских дней, когда крики «ура» взмыли Тифлис и красные флаги вихрем опоясали его, а она лежала в своем номере третий день без еды, кутала пледом стынущие ноги, в отчаянии одурманивая себя остатками эфира, а сосед по номеру, коллежский советник в отставке, в нанковых не по сезону панталонах, проворовавшийся земский начальник в эспаньолке, уговаривал: «Рвите, рвите паспорт. Нас, дворян, будут резать, *ragole d'honneur*. Нас, чистокровных, эти канальи пороть будут, *je vous assure*, увидите. Рвите».

Перед зеркалом и уснула.

Сперва в глазах зарябило, потом неведомо откуда прилетевший фазан крыльями взмахнул, рябь прогнал, но тонкую пахучую сетку накинул на веки, пахучую и разноцветную. Затем сквозь дрему почудилось, что подошел бабай-Мутала, тот самый, что неподалеку от дедушкиного дворца торговал кок-султаном, виноградом и персиками, подошел и опрокинул над ней кулиган с розовой водой, и от теплых ароматных струек даже по кончикам пальцев прошла неизъяснимая радость, и почему-то рядом с ним очутилась *mademoiselle* Жиро с французским диктантом и прошипела: «Не шалите, вы из порядочной семьи», а затем снова фазан развернул крыло. И стало кресло падать, падать, падать...

#### IV

До зуда в коленях бродил в эту ночь Гиляров; вокруг всех поездов кружил, и на холмах побывал, и слушал за семафором, как гудит проволока: «Новые

вести. Каждую минуту будут новые, одна другой ошеломляющее, а я уже позади, давно позади. Конечно, Петр: можешь гроб себе тесать, можешь и головой биться о телеграфные столбы, можешь и стихи писать — все равно». У себя в купе даром постель снял: не спалось, а когда в салоне от круглого обеденного стола подошел к своему письменному столу, увидел в зеркале кресло, в кресле белый комочек, и косу, перекинутую поверх ручки почти до полу.

Стараясь не шуметь, он на цыпочках пробирался к выходу: но оттого ли, что уж очень старался, или оттого, что, идя, все оглядывался, он зацепился за стул.

— Это я, не бойтесь, — успокаивал он, — я не знал, что вы тут. Простите.

А белое платье уже покинуло кресло и притаилось в углу, между ремингтоном и овальным диваном.

— Я не боюсь. Я не испугалась. Я сама виновата. И я рада, потому что я хочу...

Покрышка ремингтона звякнула под возбужденной рукой: рука легла на него, точно прибегая к опоре.

— Потому что я хотела... Хочу переговорить с вами. Вам меня жалко. Я знаю. А я не хочу жалости. Вам Сестрюков наговорил, потому что он глупый, потому что он носил меня на руках. А меня не надо жалеть. Я в этом не нуждаюсь. Да, да. Я этой жалости не хочу от вас. И завтра я уйду из вашего вагона.

— Он не мой, он ваш, — не изумляясь, принимая как должное и ночную встречу, и необычный разговор, ответил Гиляров. — Я здесь чужой, а вы своя.

— Вы хозяин. А я...

— Я временный гость. Нежеланный и незванный. Даже не татарин, — усмехнулся он, — а недоразумение одно.

Белое платье отделилось от стены.

Лунные пряди все набегали и набегали безостановочно, как безостановочно и долго раздавался в салоне двойной шепот: то один поглуше, то другой помягче, — в том самом вагоне, где когда-то князь Григорий Ильич, царедворец и винокур, делился анекдотами из придворной жизни, а полногрудая фрейлина, надев кокошник, отплясывала русскую для увеселения сибирского прорицателя.

— И не надо бояться жалости. Быть может, это самое прекрасное из всех человеческих чувств, завещанных нам. И если я даже пожалел! Разве жалость оскорбительна? Бьет? Унижает? Только бездушным она кажется унижительной. И только тот, кто говорит: я все знаю, — клеймит ее. А кто все знает? Никто. Или сумасшедшие. Но и им она нужна. Природа знает жалость и утвердила ее, как утвердила огонь, свет, смерть. И если я даже пожалел? Тогда ответьте той же жалостью, чтоб не страшила мысль остаться в долгу.

— Она нужна вам?

— Нет такого, кому она не нужна. Кто говорит: я не хочу ее, — тот себя обманывает; кто говорит: она не нужна мне, — тот боится ее, ибо она и дар и, как дар, не только радует, но и обязывает. Люди перестали друг друга одаривать, они не хотят обязательств,

поруки, потому скудеет земля. Вот в пустыне даже шакал шакалу весть подает. Вот ночью в море посылает же пароход другому пароходу сигнал: я тут, слышишь? И люди должны, как корабли...

— Корабли, проходящие ночью, говорят друг с другом огнями.

— Откуда, откуда, это? Чьи это слова?

— Не помню. Быть может, в ролях попалось. Нет, не там, — что я говорю! Нет, нет. Хорошие, да?

— Хорошие.

— Есть еще настоящие слова?

— Корабли...

— Скажите: есть?

— Корабли, что ночью прохо...

— Не так, вот как: корабли...

И Гиляров, лоя подсказанное, шевелил запекшимися губами:

— ...проходящие ночью, говорят друг с другом огнями, — и видел необозримое бурлящее море, а себя привязанным к сломанной мачте с потухшим фонарем.

## V

Рано проснулась Тоня в своем купе и после многих дней впервые почувствовала себя неразбитой, хотя спала всего-то часа три. А вскоре и Сестрюков постучал:

-- Барышня, чайку кушать.

Тоня отвернула занавеску — над холмами плыли тонкорунные барашки, то тут, то там голубели

небесные проталины. Тоня поправила у плеча сорочку и присела.

— Ко-ми-с-сар, — проговорила она отдельно, вслух и засмеялась смущенно и радостно.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

### I

День пробежал, как весенняя тень по косогору, Тоня даже не успела оглянуться.

Уже давно — когда это было? — не проходили дни так безболезненно, не задевая, не раня, точно не часы шли, а лепестки осыпались, точно не в жизни еще шаг-день отмерен был, а на берегу нездешнем, высоком-высоком, над синим провалом день — мгновенье пронежилась. И потому не сушили злополучные мысли, ставшие в последнее время неотъемлемыми — никакие, даже новые о чудесном не посетили, даже чудесные о новом, где озарение, где предчувствие пленительных минут уже не исторгнуть из души. А за ужином перевела взор с блюдца на Гилярова, посмотрела, как он от телеграммы, только что полученной из Тифлиса, отщипывает кусочки и кусочки то ко рту подносит, то сбрасывает на пол, словно не знает, куда девать самого себя промеж этих лоскутков, поглядела, как он дергает бровью, — и подвала с жутью, жалостью и первым волнением приближающейся любви:

«Господи, да ему еще хуже, чем мне», — и снизился высокий берег.

Но не горевала, что пропал он, а с ним и безмятежность, не объяснила себе, почему нет сожаления, но поняла бездумно, что взамен другое будет, — ярче, нежнее, и, быть может, выше, выше любой горы...

...Снова притих вагон, улеглись проводники, машинистка заснула над развернутой книгой о городском самоуправлении. На Тонин стук Гиляров тотчас же отозвался, как тотчас же после ее слов: «Идемте, идемте в салон», сказал:

— Я вас ждал.

## II

В эту ночь луна где-то заблудилась.

Зеркало только едва отсвечивалось, уже само по себе, как будто от всего отмахнулось, чтобы суметь прислушаться по-настоящему, чтоб никто не помешал, никто и ничто.

— А мне можно при вас с косой? — спрашивала Тоня и поджимала ноги под себя. — Вы не смейтесь. Поймите, милый, милый комиссар... Я вас так буду звать. Пока... Мне нравится это слово «комиссар», в нем для меня необычное и... И приятное. Поймите, что я так много вольностей насмотрелась, что мне страшно, когда я... Ах, что насмотрелась! Я сама позволяла другим и себе. Я... комиссар. Я гуляющая. Слышите?

— Слышу, — ответил Гиляров и, взяв ее руку, поднял пальцами кверху. — А пальцы остались. И живые. И не надо, не надо больше об этом.



— Почему? Почему? — сухо отозвалась Тоня. — Вам противно? А если мне хочется, чтобы вам стало противно. Нет, нет, — потянулась она к нему испуганно и плечами передернула — такой холод вдруг объял их. — Я не этого хочу. Я хочу другого. Я хочу, чтобы вы всё знали обо мне. Я не хочу, чтобы вы подумали, будто я под маской пробралась сюда. Как ряженные свою настоящую одежду оставляют дома. Клянусь... Комиссар, милый, клянусь, я ни на одну минуту не притворялась. Когда вы попросили меня перейти сюда, я сразу сказала: нет. Только потому, что не знала, смогу ли я вам все рассказать о себе. Я побоялась, — да, да, побоялась. А прийти и не сказать, таиться, — нет, еще хуже, точно под чужим именем. Я побоялась, боже мой, ведь я только женщина. А потом... Вы стояли на платформе. Сестриков приуныл, чуть не разревелся. Я вспомнила, как он говорил мне, что вы не такой, как все, особенный. И я опять поглядела на вас, а вы сказали: ведь это ваш вагон, ведь это единственная радость, которая вам осталась, вы снова обрели ее, и надо идти к ней, ведь это ваше старое лепелище, и надо вернуться к нему. И у меня сердце замерло. Господи, подумала я, ведь этот человек заглянул мне в душу. И я сказала: да. А ночью я решила: жалеет, как котенка, который попал на рельсы, и вот его сейчас поезд раздавит. И вот пришла тогда и сказала об этом. Я хочу, я хочу, чтобы вы все знали про меня.

— Я знаю, — мягко проговорил Гиляров, — я сразу все понял. И не надо об этом.

— Поняли? — Она окончательно зарылась в кресле и не пошевелинулась.

А потом глухо спросила:

— Значит, по мне видать? По лицу? Да? По платью?

— Ничего не видать, бедная странная женщина. У вас лицо девичье, вы еще в школе, и мел от доски на локтях. А в платье без шляпы вы — как причастница. Мне губы объяснили.

Она рванулась и снова свернулась клубочком неподвижным. Вскоре оттуда протянулась рука, на слабом свете сквозная, и легла на колено Гилярову.

— Я больше не буду их красить. Никогда. Хорошо?

— Хорошо, — помолчав, ответил Гиляров и осторожно-осторожно снял ее руку и положил ее на край кресла.

Так она там и белела до рассвета.

И от пальцев не отрывался Гиляров, и жили они перед его глазами на тисненой обивке кресла и, словно камни драгоценные на дне раскрытого ларца, переливались и просились взять их, любоваться ими...

### III

Второе Тонино утро в салон-вагоне застало ее в слезах.

— Я хотела рассмеяться, когда проснулась, — рассказывала она Гилярову в третью ночь.

Не могла не постучаться к нему, не позвать его к зеркалу, к лунным пятнам, к креслу, где можешь вся целиком уместиться, и оттого кажется, что ты в безопасности от всяких бед и напастей, покоишься

на широкой, родной груди, и грудь эта не выдаст, защитит, убережет.

— Мне сон снился. Редкий, дивный, не как прежние, потому смеяться хотелось, так это хорошо было. Вот в саду я будто, на качелях, качели взлетают, а я кричу: еще, еще. Они еще выше. А на мне красное-красное платье, а в саду вишни распускаются, и вся я в цветах вишневых. А я заплакала, я услышала в коридоре ваши шаги и вспомнила, как вы за ужином кривились, читая телеграмму, какой бледный сидели, как сгорбились. Я не хочу качелей. Я хочу знать, что с вами. Не хочу я вишневого цвета, когда вижу, как вы угрюмы, как вам тяжело. Что мне качели, когда вам трудно.

— Пройдет. Пройдет, — отвечал Гиляров и не горбился, точно доказать хотел милым пальцам, будто вовсе не так тяжело — и вот даже не придавлен, а стоит прямо, — точно успокоить их хотел, отвести от них и горести и заботы. — Пройдет. Еще немного...

На том же месте, что и вчера, и третьего дня, Тоня уже не спрашивала, есть ли настоящие слова, а верила им.

«Я глупая, — говорила она себе. — Я многого не понимаю, о чем он говорит. Но я пойму, пойму. Но я хочу, чтобы он мне говорил. Со мной никто так не говорил. Он мне, мне это говорит. Значит, он знает, как мне с ним светло, чувствует, что все мне нужно — и он, и слова его, и боль его».

— Еще немного, еще немного, и я уже совсем успокоюсь. Я уже почти спокоен. Ведь я уже знаю, во что я уткнулся. Разбился, уткнувшись. Тем лучше,

только плохо, что не насмерть. Надо вот еще раз заглянуть и раз навсегда условиться с самим собой: посторонись, Петр, посторонись и пропусти тех, кому ворожея наворожила. Наворожила по-сказочному: плечом двинешь — переулочек, рукой взмахнешь — улица. Бог мой, старая русская ворожея — не то ведьма, не то ангел. Посмотришь: ангел, ангел; взглянешь — ведьма, ведьма полосатая. Но все равно: от святого или дьявольского, а посторониться надо. Не то в лягушонка обратишься, не то в жабу, не то в сыча. Тоже по колдовству. Посторониться — и убежать, убежать. Не в переулочек, не в тупичок — нет, все переулочки затряслись, ходуном пошли все Скатертные, Спасские, Борисоглебские, все тупички, все клетушки попадали. Убежать, зарыться на краю или затянуть на себе кушак покрепче, вынуть рукавицы и гаркнуть: «Эй, бабушка-ворожея, исполать тебе, верю. Верю, что Русью пахнуло подлинной, бегу, родненькая. Сарынь на кичку, молчавшие досель. Сарынь на кичку, не ушкуйники, нет — угодники, праведники! Плыви, расшива, гуляй, волна, смой всю ветошь, потопом пройдишь по земле. Лейся, огненный дождь, сорок-сороков ночей. Дорогу, дорогу, храмы, дворцы, старые книги, старые истины, старые боги, старые заповеди. Все залей потопом, никаких ковчегов. Ни одной пары нечистых на разводку. Все потопи, на дно потяни навсегда, пусть раки гложут, или выпустить, как из новой купели, заново крещеным великим крещением, новой живой водой. А если все это навождение и ворожея — ведьма? Надо ответить, надо. А тяжело, тяжело, сил нет — и гнись, и гнись.

А с кресла слышалось:

— А я не могу помочь? Ничем? Не могу?

И потянулись было пальцы порывисто, но застыли по пути, словно сознали все свое бессилие.

— А если это метелица метет? А если это ведьма дыму напускает, гарью мутит, чтобы, потешившись, взвиться на метле в трубу, а из трубы каркать: сгинь, Русь, сгинь, ни дна тебе, ни крыши? Все равно: рукавицы так или иначе надо надеть, и рукавицы железные. А у меня руки-дощечки. Из таких дощечек кустари коробки делают, а потом их покупают и дарят на память для хранения писем, мелочей. Вот мы и наделали таких коробочек много. И сами там очутились: на память. И нас подарят новой России с надписью: безделушки. Не хочу в коробочку. А куда? Под кирпич хочу. Когда строят дом — и то кирпичи иногда падают с лесов. А генерал писал: строится башня вавилонская. Тем больше падающих кирпичей на головы. Кому на горе, кому на счастье. Я не заслужил этого счастья, я знаю, но я молюсь о нем, потому что больше некому и не о чем молиться.

#### IV

Все утро Гиляров оставался в своем купе и от обеда отказался.

Машинистка усмехнулась и, следя исподтишка за Тоней, делилась:

— Петр Федорович не в духе. С ним это бывает. — И как бы мимоходом небрежно осведомлялась: — А почему вы не едите? Нет аппетита? Вы тоже

не в духе? Плохо спали? Петр Федорович тоже в последние дни не спит. Сегодня ночью я слышала, как он дверью хлопнул. А вы не слышали? Вы крепко спите?

Тоня, едва досидев до конца обеда, встала. Машинистка поковыряла вилкой, развернула очередную брошюрку, но не читалось — тянуло в коридор, туда, куда вот только что направилось белое платье.

У дверей Гилярова Тоня остановилась.

— Комиссар... — позвала она, и голос дрогнул; дрогнул и упал. — Комиссар...

Не отозвались изнутри; зарделись щеки и погасли, а пальцы соскользнули с фанерок двери, не задев, не стукнув.

Минут через тридцать Тоня снова подошла, но дверь уже была открыта, и в неубранном купе валялись на полу, на постели нетронутой клочки бумаги и куски изломанного карандаша.

Тоня подозвала Сестрюкова, сказав:

— Надо у Петра Федоровича прибраться.

Прислонилась к косяку, глядела, как Сестрюков наливает воду в графин, как он взбивает подушку, и говорила ему:

— А когда Петр Федорович придет — ты мне скажи.

— Они на вокзал прошли. Говорят, будто на мосте уже поправили. Стало быть, в дорогу.

— Что ты говоришь? Поедем? Когда?

— Может, и сегодня, а то и завтра.

— А куда мы... Куда вы сначала поедете?

— В Бердичев.

- А потом? — тоскливо спрашивала Тоня.
- Куда начальство прикажет.
- Какое начальство?
- Из Питера. Министр и прочие.
- Куда прикажет? А куда... самому захочется?
- Что вы, барышня! Никак нельзя — служба.

Петр Федорович такой: раз приказано...

- Нельзя, говоришь?
- Нельзя, Тоничка.

Тоня посторонилась: Сестрюков подметал пол. Встретилась она с Гиляровым только за ужином. Ужин прошел в молчании, барышня из Клина зубочисткой выводила на салфетке узоры.

Когда убрали со стола, Гиляров сказал, ни на кого не глядя:

- Сегодня ночью мы едем. Путь уже открыт.
- Ночью застучали молотки.

Тоня глянула в окно: внизу шевелились фонари, черные спины нагибались к земле, и постукивали, постукивали молотки, пробуя крепость колес, вдоволь отдохнувших на стоянке.

## •V

Накинув жакет, торопясь, Тоня покинула купе, по коридору поспешила к выходу — скорей, окончательно убедиться, что не обманывают молотки, что правду выстукивают они о близком конце, о том, как за Ростовом разбегутся рельсы: одни на Харьков, другие на Бердичев, туда, где есть приказы, начальства, служба.

А в коридоре ее тут же окликнули изумленно:

— Вы куда?

— Не знаю, — ответила Тоня. — Не знаю, — повторила она, когда Гиляров с порога салона, где он немало минут простоял, подошел к ней. — Не знаю. — И на рукав его френча положила похолодевшие пальцы.

— Я вас жду давно.

И услышала, что добавил он тихо-тихо:

— Вас... Тоня...

— Я не Тоня, — проговорила она. — Я... я тону. — И прижалась к нему, все отдавая блаженно — и себя, и свою просветлевшую душу, и томленья свое.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

### I

Снова, после недельной передышки, салон-вагон помчался по русским полям.

Снова по утрам ремингтон освобождался из жестяного плена, и комиссар Временного правительства кратко и сухо сообщал Петрограду о продвижении своем, о причинах невольной задержки, указывал свой маршрут, изредка прибавлял два-три слова о разбитых паровозах, о самоубийстве нескольких офицеров на станции Дербент, где неизвестно почему очутившиеся там матросы, дробя стекла, срывая двери, ворвались в штабной вагон, о поджогах в Баку,



о бабьем бунте в Таганрогском уезде, где одна помещица оказалась ведьмой и колодцы отравляла, о погроме под Ростовом, о пастухе-пророке с Дона, антихриста воочию увидавшем, об эшелоне, разгромившем депо, о женском монастыре, где монашки продавали божью воду для истребления социалистов, о деревенских ходоках, ищущих новые земли. Но Петроград упорно молчал, не отзывался.

А по ночам Петр Федорович Гиляров, человек во френче цвета хаки с сизым, голову свою прятал в колени певички, танцовщицы и декламаторши из батумского «Ренессанса» и умолял уехать, не считаться с ним, забыть о нем:

— Я тяжкий груз. Не по твоим плечам. Да, ты мне нужна, и смешно теперь скрывать это. Да, я один, и тяжело мне. В Белоострове я плакал от счастья, а сейчас я на четвереньках — придавило меня. Но ведь земля-то та же. Стоял ли я на ней обеими ногами или лежу теперь пластом, но она-то осталась. Почему же теперь не поит она меня верой, надеждой? Высохла она? Потрескалась? Нет, это я высох, это на мне трещины. И не возись со мной. Верю, верю, что корабли говорят друг с другом огнями, знаю, как глубока темень, но ведь я давно потушил их. Испугался ветра, не смог сквозь бурю пронести. Я давно несусь, не зная ни путей, ни гавани. Ради бога, не говори мне, что ты никчемная, что ты лишняя. Ты живая, у тебя душа жива, а моя давно выдохлась. Ведь это я только по виду прежний. Я не люблю лишних телодвижений, потому кажется, будто все

благополучно. Неправда, — как есть губернии, неблагополучные по холере, так я давно неблагополучен по силе и выдержке. И сколько нас таких — дутых, безруких, безногих. А мы машем руками, топчемся на одном месте и кричим: идем, идем. Русская интеллигентско-революционная вампука. Не хочу ее, довольно. А ты — беги скорее. Ты не знаешь, что такое социализм, нужен ли он России, кому нужны мы, кто нужен нам, — и ты уцелеешь, милая русская женщина. Уцелеешь даже в кабаке, даже под пьяными поцелуями. Когда нужно будет — сотрешь их, и уста станут чисты. Когда нужно будет — кабак отодвинешь и в храм войдешь. А мне... Мне не по дороге ни кабак, ни храм. Уезжай, уезжай, родная!

На остановках он первым устремлялся к вокзалам и уходил последним.

Жадно прислушивался к разговорам, к толкам, с такой же ненасытностью приглядывался к лицам, от одной шинели переходил к другой, от армяка к зипуну, от бабьего платка к косынке сестры, от матросской полосатой фуфайки к засаленной скуфейке лукавого монашка, от теплушки к теплушке, от котомки старика-странника к венгерке проходимцажулика.

Гудела толпа — он торопился на гул, где-нибудь кучка останавливалась — он ютился возле нее, песня раздавалась — он шел на песню, вопль прорезал воздух — он бежал на вопль, щелкали винтовки — он протискивался вперед.

А возвращаясь, глядя, как трещат крыши вагонов под сапогами, лаптями, как сотни обветренных рук липнут к перилам, хватаются за буфера, за оконные рамы, за дверные скобы, как треплются по ветру юбки, шинели, очипки, платки, как гнутся оси, оседают мостики, перекинутые от одного вагона к другому, как гуляют мешки по головам, слушая, как в один непрерывный ропот сливаются крики, визг, хрип, кашель, ругательства, чавканье и несутся вдоль насыпи, перебитых щитов, за которыми мертво лежат серые голые поля, кренятся пустые овраги, и чернеют буераки, — еще настойчивее, еще с большей горечью, словно упорнее назло себе, убеждал Тоню:

— Ты должна оставить меня. И твой голубенький не защитит. Только чудом он еще держится, но это ненадолго. Пойми, что тебе нельзя оставаться здесь.

— А тебе, а тебе? — И она потянула его к зеркалу. — Погляди на себя, во что ты обратился. Ты уже разогнуться не можешь. А тебе?

— Я капитан, — попробовал он пошутить. — На гибнущем корабле. Должен до конца остаться.

— Не шути, — взмолилась она и побледневшее лицо спрятала в старом гостеприимном кресле, но и этот верный друг долго не мог успокоить ее.

— Плохой капитан, — пробормотал Гиляров. — Дырявый, безрукий, но остаться должен.

И зеркалу, молчаливому неизменному свидетелю конца многих «капитанов», улыбнулся искривленной и жалкой улыбкой.

## II

На остановках Сестрюков гасил электричество, запирали выходные двери, а в Ростове еще к тому смастерил деревянные заслоны.

И все чаще и чаще шушукались меж собой проводники, и не раз замечала Тоня, что порывается Сестрюков заговорить с ней, но нет в нем решимости, а потому старается не попадаться на глаза. Однажды подслушала, как справляется Панасюк у Гилярова, где прикажет он припрятать серебряные подстаканники, ножи и ложки.

В тот день, когда Сестрюков впервые приладил к двери заслоны, Гиляров твердо сказал Тоне:

— В Синельникове мы расстанемся. Молчи. Так должно быть. — И отвел глаза от задрожавших, испуганных, милых ресниц. — Я попал в водоверть. Страшна она, бешено разворачивается. Ты, к счастью, не видишь, но я вижу. Все ширится и ширится. Кого заденет, — конец тому. Не могу, чтоб ты даже подле стояла. Я попал — и пойду ко дну. И не пробуй удержаться — все равно не сможешь. В Синельникове ты пересядешь в харьковский. Нельзя иначе. Нельзя. Нельзя.

А при гудке сорвался с места.

И снова побежал к платформе, к вокзалу, к гулу, к запаху овчин, махорки, доморощенной сивухи, к ларькам с воблой, к облупленным стенам, где спина спину выпирает, где звенят стекла от брани, к грудам тел и мешков, вместе спаянных жадностью, верой, слезами, проклятьями, мозолями, к тверской,

вятской, черниговской, олонецкой, пензенской волне, — к водоверти: еще раз заглянуть, еще раз убедиться, еще раз понять.

В сумерки Тоня внесла к нему в купе свечку. Он с постели приподнялся ей навстречу.

— Теперь я тону, Тоничка. И вот даже пузыри пускаю.

И, уже не пряча ни тоски, ни боли, искал в пальцах ее забвения, тишины и отдыха.

— Ты когда-нибудь видела, — спрашивал он, руку ее укладывая себе под голову, — как в половодье гибнет человек, застигнутый на реке? От одного берега отошел, другой далеко, а может быть, его и совсем нет и никогда не было, только марево одно. Громоздится льдина на льдину, гора растет. Вдруг грохот, один удар, третий — и впадина. И летит в нее человек, и не за что ему ухватиться. Все соломинки ветром унесло, а льдины руки режут, а по льдине ноги скользят. Вскрылась река. Не угадали мы часа, уговаривали себя, что вскрыется она смиренно, ласково, в положенный день. Ведь мы ученые, знаем законы природы, недаром изучали их годами по Парижам, Женевам — и сели, бог мой, с каким треском! С какой убежденностью мы талые места заклеивали бумажками. Умники, умники, алхимики всякие, законоведы. И летят вверх тормашками все законы. И ученые тож, с приборами, с выводами, с барометрами и словами. Туда им и дорога. Но только не ты. Ты тут ни при чем. Ты маленькая.

— Так пожалей меня, — попросила Тоня.

— И не покидай меня, — поутру говорила она, держа шляпу в руках, когда поезд приближался к Синельникову, а Сестрюков из купе выносил ее чемоданы. — Не покидай. Я не жена тебе, я даже не любовница, но мы не должны расставаться. Ведь и тебе так же худо, как и мне. Ведь и ты один, как я. Так уйдем оба.

— Куда?

— Не знаю. Но мы узнаем, потом узнаем. Вот уже и вокзал. Петр, я сейчас надену шляпу — и конец. Ты уйдешь, салон-вагон уйдет. Ни тебя, ни его. Чудесно обоих нашла и обоих потеряю. Я ничего не прошу — ни ласк, ни клятв. Я не говорю: возьми меня в жены. Не говорю: дай мне счастья; бог с ним, со счастьем. Мне счастья не надо. Но только не уходи. Петр... хотя бы до Екатеринослава. Мы узнаем, мы потом узнаем, куда.

Зашипели тормоза, Сестрюков вскинул чемодан, Тоня застегивала жакет, и увидел Гиляров, как она не той петелькой ловит пуговицу.

— Сестрюков, — крикнул он, — подождите. — И глухо сказал Тоне: — Объясните ему... Скажите, что раздумали ... пересаживаться в Синельникове.

### III

Из Екатеринослава поезда на Харьков не шли: бастовала линия, харьковские телеграммы не доходили. Одна случайно проскочила с известием, что украинские полки, покидая Север, запрудили все дороги. В городе постреливали на окраинах,

ждали погрома, в университете с утра кипел митинг, в двух-трех аудиториях раздавали оружие самообороне. Съездив в город, комиссар снесся со Знаменкой, оттуда ответили, что пока продвинуться можно.

Ночью, при одном фонарике, вдаль от вокзала составлялся поезд.

Работали с оглядкой; часть поездной прислуги разбежалась, и помогали офицеры: подталкивали вагоны, неуклюже, но лихорадочно возились с буферными цепями. Работал и Гиляров. Была минута, когда он чуть-чуть не угодил под колеса; похолодел, споткнувшись: «Вот... конец», — и только невольно заслонился рукавом, а поднялся — опять то же небо и те же осенние продрогшие звезды.

Крадучись, погасив огни, точно убегая от врага, или к врагу подкрадываясь, поезд с опаской пробирался по запутанной сети рельс, пока не выскочил на нужный путь и не понесся вдаль, оставляя за собой дымные полосы, вдогонку крики обманутых мужиков и солдат, вокзал, полный распластанных фигур, залитый потом, бабьими слезами, остатками солдатских щей.

Но точно такие же вокзалы побежали ему навстречу, с тем же чадом, с тем же ревом, с той же шелухой от семечек, с теми же заплеванными полами, с теми же грошовыми свечками перед образами, возле которых хныкали дети, переругивались мужики, почесывались переселенцы, и брякали манерками беглецы с фронтов, — обшарпанные, в рваных обмотках.

— Кончено, — сказал Гиляров, входя к Тоне. — Попрощайся с Харьковом. Надолго, а быть может — и навсегда, — и горестно припал к ее руке. — Моя вина. Я должен был настоять в Синельникове. Моя вина — прости.

— Не твоя, не твоя, — поднимала Тоня его голову и искала глаз его. — И не проси прощения. За что? За то, что ты мне помог? Найти себя и тебя? Нет вины, нет виноватых. Милый, милый...

#### IV

В Знаменке барышня из Клина сбежала.

В ночь перед этим она проплакала до зари, и не только потому, что обманул ее Блос, — о Блосе и не вспоминала, когда в Екатеринославе от одиночества, темени и насторожившейся тишины не знала, куда приткнуться. Прощаясь с Гиляровым (с Тоней не простилась), просила иногда вспоминать ее.

— Не отпускай ее, — говорила Тоня и порывалась бежать за машинисткой, остановить, вернуть ее.

— Пусть, пусть, — удерживал Тоню Гиляров. — Она знает, что делает. Она не пропадет. Она, как крыса, заранее убегает. Она маленькая-маленькая крыса, но жить и ей хочется. Пусть бежит. Она права: мы тонем. Беги и ты.

— Я не крыса, — сквозь слезы улыбалась Тоня и мелкими-мелкими поцелуями, точно крестиками, покрывала Гилярова, — я не крыса. Посмотри на меня, только посмотри, и ты все поймешь. Поймешь, что меня нельзя было отпускать. Поймешь, как безмерно



ты наградил меня, поймешь, что спас меня. Ляг, ляг. Я посижу около тебя. Ты сейчас бледен, как умирающий, а я хочу, чтобы ты жил. Я дурная, я знаю: я ненавижу твою революцию, я ненавижу твоих министров. Я... я не понимаю, для чего все это, к чему. Я глупая, я как баба деревенская, но сердце мое чувствует, что нужно тебе, куда надо увести тебя, почему ты такой. Чувствует и не ошибается. И мы уйдем. Вот ты в Бердичеве сдашь дела свои... Ведь ты их можешь сдать?.. Можешь?.. Ну, ответь же мне. Не хочешь? Ну, хорошо, хорошо. Потом, потом ответишь. Господи, какой у тебя лоб горячий. Приляг, приляг. Ни о чем не думай, хоть полчаса. Милый, слышишь, как колеса стучат?.. Ведь это мы едем домой. Мы найдем дом свой, и ты забудешь о кирпичах, как я для тебя все забуду, все, что только захочешь. Тебя и меня везет наш голубенький. Тебя и меня. Слышишь, слышишь, как он стучит: домой, домой!..

## V

Покачиваясь, дребезжа, на поворотах вздрагивая, вагон мчался все дальше и дальше.

А перед ним, за ним, вокруг него гигантской сказочной птицей кружилась октябрьская ночь, одним — черным — крылом осеняя поля, леса, города, окопы и села, а другим — красным — сея по русской, по-старому алчущей нови колдовские семена огней, пожаров, искр, бурь, криков, песен, смерти и вихря для будущих великих восходов нового святого преображения бездны и хаоса.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

### I

В Фастове поезд задержался на полдня.

Человек тридцать пехотинцев в полной походной амуниции, молча, лишь изредка отрывисто переговариваясь промеж себя, отцепили паровоз, без лишних слов избили машиниста и заставили его повернуть назад к Знаменке, забрав десятка два теплушек, переполненных людьми, откуда предварительно усач в желтом чепане, при помощи двоих сподручных в шлепанцах на босую ногу, но в лихо надвинутых мерлушковых шапках, выкинул всех евреев:

— Выходи, бердичевские. Бердичевских не надо.

В лужи летели подушки, узелки; свертки, тут же исчезая по рукам, и возвращались в те же теплушки, но уже к новым владельцам. Толстый, старый еврей вцепился в край теплушки и повис над рельсами, — задрались брюки поверх глубоких галош, показывая клетчатое цветное белье, на землю упал порыжевший котелок, и разметались по ветру седые волосы. Ловя за ноги, один из сподручных тянул его вниз; две еврейки барахтались у стрелки и, плача, путались в юбках; у одной на затылок сползал парик; неподалеку стоявшая баба в нарядной плахте хлопала себя по бедрам и повизгивала от восхищения. Кружились редкие снежинки и таяли, не доходя до грязной, черной земли, повитой криками спотыкающихся детей, стонами слепо мечущихся женщин.

Паровоз засвистал — желтый чепан напоследок пинком повалил в лужу еврейку с бубликами, веером разлетелись бублики. Подхватывая их, сподручные зашлепали к вагонам; в одном из них солдаты запели «Марсельезу», — поезд тронулся.

— «Отречемся от старого мира», — выводили удаляющиеся голоса; старик еврей ловил свой котелок.

В окне салон-вагона стоял Гиляров и, как ни упрашивала Тоня уйти, не отходил, щурил глаза, мял занавеску и твердил:

— Я все должен увидеть. Вот ты просишь уйти с тобой. Надо же, чтоб перед уходом все запечатлелось. Вот тут. — И взяв ее руку, прикладывал к сердцу. — Тут... Потому что в голове давно уже мутно. Мутно, родная. А ты и мутную голову будешь ласкать? Будешь? И успокоишь ее? А вот кто эту девочку успокоит? Вот эту еврейку? Видишь, как она за стенку хватается? Кто ее утешит, рыженькую? Есть, рыженькая, утешение. Лет через пять—десять у всех будет курица в супе. Терпи, терпи, рыженький цыпленок. А ее мы тоже возьмем с собой домой?

Сестрюков возился с заслонами, Панасюк в кладовке зарывал в мусор министерский сервиз, сворачивал ковры, все гадал, куда ему приткнуть их, лез за советом к Сестрюкову, а Сестрюков, кряхтя над болтом, сердито отмахивался:

— Да плюнь ты на ковры. Ты лучше о живой душе подумай. Куда нам барышню деть? Ну-ну, времечко.

И опять протянул Панасюк, как в мартовские дни, когда растопились снега и переливчато, звонко и бодро зашумели весенние молодые потоки:

— Мм-дд-аа, достукались.

## II

В Казатине Гиляров послал свою последнюю телеграмму в Петроград, — Петроград молчал.

От Бердичева, с фронта, с позиций грядями катились к северу солдатские волны, то целыми эшелонами, то отрядами, то отдельными кучками, побросав окопы, в сторону отойдя от войны. И как гремели пустые манерки, и стучали приклады теперь уже будто ненужных винтовок, разносились по насыпям, по рельсам, по мостам, по вокзалам охрипшие голоса: «Домой. Домой».

За Казатином на разъезде сухонький артиллерист собирал вокруг себя шинели и случайным свиткам махал рукой:

— Подходи, товарищи. Ноне нету никаких разниц. Что мужик, что солдат, — все за одно. Солдат по барину, мужик за солдата. Повоевали на чужой карман, а все пусто. У Киеве народная республика. Есть телеграмма. Без господ, ефрейтор — губернатор. Есть телеграмма. Без обману, замирение и прочее. Подходи, подходи, мужички. Ноне все за одно.

На пути к рязанским, воронежским, московским деревням сметались, точно вихрем, вокзальные лари, будки, опрокидывались вагоны, откатывались локомотивы, дотла очищались еврейские хибарки,

присоседившиеся к станциям, и по избам тех же русских деревень хозяйничали туляки, костромичи, залезая в квашни, шаря по печам, швыряясь ухватами, давя кур, топча огороды и пашни.

### III

Петроград молчал — и только в Бердичеве узнал Гиляров, почему он замолк.

В штабе, у стола командующего, за картами с флажками, теперь лишними, точно детские игрушки в разгромленном доме, он окончательно понял, как развернулась водовороть, куда она закинула концы свои, на что размахнулась, кого втянула в свою могучую воронку.

Презрительно, почти с отвращением поглядел он на присутствующих, когда те убеждали не ехать в Щелетовку и равнодушно мямлили то о бессилии, то о том, что надо переждать, пока «безумцы опомнятся», и, получив нужный ему приказ к коменданту бердичевского вокзала, вышел не попрощавшись.

Из штаба он подошел к Центральной гостинице, о чем-то условился со швейцаром и поехал к себе. Густо падал снег и плотно залеплял опустевшие улицы, заколоченные магазины, одиночных прохожих, при стуке пролетки бросающихся с тротуара к стенам домов, словно под защиту, а дома тоже прятались за ставнями и тоже нуждались в помощи, и не было ее ни для тех, ни для других.

Подъехав к вокзалу, Гиляров велел извозчику не уезжать и ждать его.

Весь запушенный снегом, Гиляров прошел к Тоне, — Тоня спала.

Он нагнулся к ней, и упали на нее с фуражки, словно лепестки неведомых, но прекрасных цветов, несколько снежинок. Тоня со сна провела ладонью по лицу, вздохнула, но не проснулась.

И долго стоял Гиляров, глядя, как, пошевелившись раз, затихали пальцы на порозовевшей щеке.

Потом осторожно и нежно разбудил ее:

— Вставай, Тоня. Надо укладываться, извозчик ждет. Я сдал все свои дела.

Все падали вещи из рук, когда Тоня укладывалась: не слушались в один миг ошастливленные руки, не знали, за что раньше взяться, а Гиляров присел к столу с карандашом и блокнотом.

Кончив писать, поманил к себе Сестрюкова и заперся с ним в купе; выпуская его, вдруг опять втянул его в купе, с силой взяв его повыше локтя:

— Так как, довезешь ее до Питера?

— Довезу. Как бог свят, — багрово вспыхнул Сестрюков и даже перекрестился.

— Не забудешь адреса?

— Ваше благородие... — внезапно сорвалось у Сестрюкова. — И вы бы...

— Что? Что?

— Невский проспект, 35... — невнятно пробормотал Сестрюков и попятился к двери.

В коридоре Тоня, уже одетая, с сумочкой через плечо, остановила Гилярова и смущенно спросила, не будет ли он смеяться, если она попросится с зеркалом, с голубеньким, и Гиляров нашел в себе

присоседившиеся к станциям, и по избам тех же русских деревень хозяйничали туляки, костромичи, залезая в квашни, шаря по печам, швыряясь ухватками, давя кур, топча огороды и пашни.

### III

Петроград молчал — и только в Бердичеве узнал Гиляров, почему он замолк.

В штабе, у стола командующего, за картами с флажками, теперь лишними, точно детские игрушки в разгромленном доме, он окончательно понял, как развернулась водоворот, куда она закинула концы свои, на что размахнулась, кого втянула в свою могучую воронку.

Презрительно, почти с отвращением поглядел он на присутствующих, когда те убеждали не ехать в Щепетовку и равнодушно мямлили то о бессилии, то о том, что надо переждать, пока «безумцы опомнятся», и, получив нужный ему приказ к коменданту бердичевского вокзала, вышел не попрощавшись.

Из штаба он подошел к Центральной гостинице, о чем-то условился со швейцаром и поехал к себе. Густо падал снег и плотно залеплял опустевшие улицы, заколоченные магазины, одиночных прохожих, при стуке пролетки бросающихся с тротуара к стенам домов, словно под защиту, а дома тоже прятались за ставнями и тоже нуждались в помощи, и не было ее ни для тех, ни для других.

Подъехав к вокзалу, Гиляров велел извозчику не уезжать и ждать его.

Весь запушенный снегом, Гиляров прошел к Тоне, — Тоня спала.

Он нагнулся к ней, и упали на нее с фуражки, словно лепестки неведомых, но прекрасных цветов, несколько снежинок. Тоня со сна провела ладонью по лицу, вздохнула, но не проснулась.

И долго стоял Гиляров, глядя, как, пошевелившись раз, затихали пальцы на порозовевшей щеке.

Потом осторожно и нежно разбудил ее:

— Вставай, Тоня. Надо укладываться, извозчик ждет. Я сдал все свои дела.

Все падали вещи из рук, когда Тоня укладывалась: не слушались в один миг ошастливленные руки, не знали, за что раньше взяться, а Гиляров присел к столу с карандашом и блокнотом.

Кончив писать, поманил к себе Сестрюкова и заперся с ним в купе; выпуская его, вдруг опять втянул его в купе, с силой взяв его повыше локтя:

— Так как, довезешь ее до Питера?

— Довезу. Как бог свят, — багрово вспыхнул Сестрюков и даже перекрестился.

— Не забудешь адреса?

— Ваше благородие... — внезапно сорвалось у Сестрюкова. — И вы бы...

— Что? Что?

— Невский проспект, 35... — невнятно пробормотал Сестрюков и попятился к двери.

В коридоре Тоня, уже одетая, с сумочкой через плечо, остановила Гилярова и смущенно спросила, не будет ли он смеяться, если она попросится с зеркалом, с голубеньким, и Гиляров нашел в себе



силы не только приветливо и светло улыбнуться ей, но и сказать, что это даже надо, что и он прощается с ним, как с близким, любимым человеком.

Тоня обходила все уголки и кивала:

— Прощай! Прощай!

Еще раз мелькнули в трюмо удлинённые, повеселевшие глаза. Мелькнули и исчезли навсегда.

#### IV

Сестрюков и Тоня усаживались в пролетку; Сестрюков двигал желваками и отворачивался.

— Где тебя ждать? — спрашивала Тоня.

— В Центральной, — отвечал Гиляров, пригнувшись: копался на дне пролетки, укутывал пледом заплатаанные белые туфельки. — Я снял номер. Сестрюков знает. Ну, с богом.

Пролетка заскрипела по снегу, а вскоре замело и колеи проложенные и черное, все уменьшающееся и уменьшающееся пятно.

Гиляров на одну минуту, только на одну минуту прислонился к фонарному столбу — и прошел в комендантскую.

Часа через два салон-вагон с небольшим составом платформ отошел на Щепетовку; еле-еле плелся поезд, потрепанный паровоз задыхался, отдыхал на каждой версте, Панасюк завалился спать.

Гиляров снимал заслоны с дверей и по белым полям скользил тупым взглядом, и, как поля, мертвенно-чисто было лицо его.

А в Щепетовке салон-вагон как врезался в солдатскую гущу — так и застрял там.

В Щепетовке ловили офицеров и мимоходом громили станцию.

И когда один из убегающих, волосатый генерал со шрамом поперек лба, завидев голубой салон-вагон, четко выделявшийся среди плоских платформ, кинулся к нему, в нем усмотрев неожиданное спасение, каблуками отбиваясь от цепких рук, растянутых кричавших ртов, красных, похожих на развороченные помидоры, а Гиляров, рванув дверь к себе, с верхней ступеньки поймал генерала за шиворот, уперся обеими ногами в железную обивку и втощил его на площадку, — один и тот же приклад обрушился и на него, и на генерала.

Потом оба лежали на снегу, рядом, плечо о плечо: Гиляров и генерал со шрамом от порт-артурской раны — оба в шинелях защитного цвета, оба запрокинув размозженные головы к небу, откуда не переставая сыпались мохнатые хлопья и одним белым покрывалом крыли алую кровь, скудную землю и голубой салон-вагон.

А в этот час в номере бердичевской гостиницы, где выцветшие драпри тщетно пытались приукрасить убожество сырых стен, облезлых пуфов и колченогих стульев, Тоня читала письмо Гилярова на двух листиках из блокнота, с неровными в зубах краями.

Как некогда в дни кремовых трубочек и писем об азалиях, старый проводник Сестрюков взял на руки барышню Тоничку, поднял ее с полу и понес к дивану...

## V

А на следующий день, 30 октября, салон-вагон повез председателя военно-революционного комитета Н-ской армии в штаб фронта.

Высокое зеркало по-прежнему невозмутимо и спокойно отразило фигуру нового хозяина — приземистую, крепко сколоченную, и каштановую прядь волос из-под папахи, вбок надетой, и наган без кобуры за поясом, и гимнастерку на выпуклой груди, и вздернутые брови над смышленными, молодыми и слеза лукавыми глазками.

Но так как зеркало было надтреснуто крест-накрест — от сильного удара, после того как убили комиссара, и солдаты ринулись в вагон, — то и отражение получилось неверное, словно на несколько частей расколотое.

Коктебель 1919. Одесса 1920 — 1921

## ПОГРЕБ

**П**О ЖЕЛЕЗНЫМ дорогам, по тюрьмам, по казармам, по вокзалам, в лесах за мшистыми пнями, в хвостах у раздаточных пунктов, на базарах в ожидании облавы, по всей земле российской, по всем бывшим и не бывшим городам, при всех зеленых, белых и красных, в жару и слякоть, в белопенную вьюгу и оттепель человеческое тело научилось сжиматься и сокращаться: в теплушке лежали как поленья — штангами.

Лежали чуть ли не в три ряда, валетами — своя голова меж чужих ног, своими ногами оплел чью-то голову.

Сперва барахтались, швырялись мешками, дубасили друг друга по спинам, к стенкам придавливали, а потом притихли: вечер надвинулся, темень обволокла, единственная — барская — свеча спертого воздуха не выдержала, задохнулась, спички гасли. Плакала девушка-беженка, — тихонечко, боясь слово молвить: костлявая рука под юбкой шарила, мерзкая рука, невидимая — сотни, сотни рук снизу, с боков.

И в первую же ночь за Одессой придушили в темноте ребеночка солдатским сундучком, старорежимным, обитым зелеными жестяными полосками.

А поутру на остановке понатужились (человеческое тело умеет сокращаться), еще больше сжались, еще тесней сдвинулись и выудили из недр мертвого и мать его, простоволосую черниговку, как будто живую — из угла к двери передавали, по рукам: сначала трупик, за ним мать, а за матерью корзину.

И, выкинув, понесся поезд дальше.

В поезде теплушка № 233521, а в теплушке с мешочниками, с солдатами три беглеца — три человеческие развороченные души, пожелавшие отдыха и спокойствия по ту сторону России, там, где поезда отходят по звонкам и где за вошь, говорят, ученые исследователи деньги платят.

Три человека, один другого не знавшие: штабс-капитан Синелюк никогда не слышал о присяжном поверенном Вересове, а Давид Пузик не подозревал, что лежащие рядом — белокурый, поджарый, в пиджаке с бахромками и широкоплечий очкастый брюнет в гимнастерке — вместе с ним побредут, крадучись лесом, к Днестру.

Штабс-капитан пешком прорезал всю Россию вдоль и поперек: от Уфы к Царицыну и от стен царицынских, заалевших над трехцветным флагом, назад, назад, в сумбурной толчее, мимо брошенных обозов, в океане шинелей, большаком, полями, рощами, степями — назад, назад, вплоть до немецких колоний Новороссии.

И смертельно устал штабс-капитан Синелюк от чужих паспортов, от бесконечных фамилий, с Иванова до Чавчавадзе, и регистрации.

Присяжный поверенный полтора года вьюном вертелся при каждом стуке в дверь, прятал под половицей кольца, золотые часы, письма Милюкова за время своего председательствования в губернском кадетском комитете, и в Париж потянуло: не то к Милюкову за правдой, не то прочь от обысков.

А Давид Пузик с Милюковым не переписывался, Царицына не брал и не отдавал, но нес на себе три креста, тройную тяжесть: был он евреем, торчала у него на носу катастрофическая бородавка с хвостом до губы, и была фамилия, — за первое били, над вторым издевались, от третьего житья не стало.

От весны до осени метался Пузик по городкам; солнце вставало — вставал Пузик и покидал Голту: подходили зеленые, в лесу ландыши цвели, и в Голте заколачивали ставни, матери хватали детей, старики брели наугад. Солнце исходило в пламени на зените — Пузик огородами, пашнями пробирался к станции: атаманша Маруся подкрадывалась к подушкам, к синагогальным подсвечникам. Солнце закатывалось — Пузик удирал из Вознесенска: на тачанках, с грохотом и гиком вваливались ангеловцы.

Сколько ночей может не спать человек? Спят поля, небо спит в вышине, звезды — и те дремлют, а Пузик не спит: надо каждую минуту оглядываться, надо каждый миг настороженно прислушиваться, ловить то стук копыт, то пьяную песню, надо, надо...

И Пузику ясно, что нужна ему Палестина, что нужен ему кедр Ливанский, прислониться к нему, вытянуть одеревенелые ноги и, взглянув на небо, еврейское, заснуть у гробницы Рахили-праматери детским благостным сном: будь благословен господь бог, посылающий покой усталым глазам...

И бородавка тоже: кажется, есть махновцы, есть женщины-атаманы, атаманы-волостные писаря, лезут из лесной гущи беглые прапорщики — охотники за черепами, — можно ведь о бородавке забыть, о той самой, про которую много лет назад Яков Мильхикер, фармацевт, острослов и корреспондент «Биржевки», молвил: «Комета в кругу исчисленных светил». «Биржевки» давно уже нет. Мильхикер где-то на востоке, не то в Афганистане, не то в Индии, занят дипломатической работой, а комета осталась, и хвост ее остался — у Пузика нет дипломатических способностей, Пузику нужна еврейская колония, рядом с арабскими шалашами.

И фамилия тоже: в полиции при обмене паспорта спрашивали: «Как ваша фамилия? Животик?»

И снова: кажется, все евреев бьют, бьют Менделевичей, как и Гольдбергов, и батьке Данильчику все равно, в кого штык всаживать — в Бриллианта, в человека с такой громкой фамилией, или в самого что ни на есть завалищего Янкелевича — и все-таки: Пузик, Пузик, Пузик — и хохот.

Должна же найтись земля, где будет простое и гордое: Давид бен-Симон — древнее, по праву, имя, под древним и своим, по праву, небом.

Трое выкарабкались из теплушки, побарабанив по чужим плечам, по чужим головам, втроем остались на перроне крохотной немощной станции и, сначала разойдясь — один влево свернул, другой напрямик пошел, а третий засеменял с хитрецей, с мешком, будто для обмена из города в деревню, — сошлись потом в избе Корнея Повидлы, поодаль от скученных хат, на отшибе.

У Корнея как бы явочная квартира: торг шел с контрабандистами, кто за сколько на румынский берег доставит, погреб имелся, где беглецы прятались при условном сигнале и сидели прибитыми, пока жена Корнея не стучала о пол шваброй, и брал Корней куртажные честно, известный божеский процент, — и близко лес, и ведет, ведет путаными тропками к новому берегу для новой жизни.

У Повидлы Вересов подошел к штабс-капитану:

— Позвольте на два слова. — И до вечера шептался с Синелюком: потом ужинали сообща, провиант соединив в одно; Пузик на край скамьи присел — человеческое тело научилось занимать малое место, а скамья длинная и широкая: так бы вытянуться и лечь, но штабс-капитан глаза скашивал и свертков не отодвигал.

Ночью пришлось всем убраться в погреб.

Пузик долго ногой нащупывал первую ступеньку, штабс-капитан толкнул его и прикрикнул:

— Да полезай!

И в погребе, во тьме кромешной, сказал громко и раздраженно:



— Никуда от жидов не уйти. — Повернулся и в стенку лбом угодил. — Ох... Сволочь... Всюду лезет.

А присяжный поверенный из другого угла сказал шепотом:

— Не надо, голубчик. Довольно этой национальной розни. В такую минуту надо стать выше.. В погребе... Вы только подумайте!.. — И тут же решил, что в первом своем докладе в Париже он назовет Россию огромным погребом, уничтожающим все грани, — погребом, где крестная мука во мраке объединяет всех, уравнивает и очеловечивает.

— Оставьте! — ответил капитан с ударением на «о» и в это ударение всю свою неистовую злобу, как гвоздь в стену, вколотил. — Из-за них я овшивел. Где мой полк, где мой несессер? И где вся Россия? Ничего нет. Оставьте!

Пузик положил голову на землю, влажную, словно в лесу под кустами. И, как месяц тому назад, при грохоте тачанок желто-жупанников, обветренных, очумевших от крови, водки и женской плоти, заткнул уши.

Вересов закурил; чиркнув, спичка вырезала из темноты ничком лежащую скрючившуюся фигурку Пузика, вырезала-показала и снова слила с темными расплывшимися краями.

— И ему невкусно, — меланхолически протянул присяжный поверенный и огненным кружочком повел в сторону Пузика.

— Оставьте!

Капитан остервенело чесался и устраивался на ночь; присяжный поверенный думал о том, как он,

Вересов, всепрощающе-великодушен, и видел себя в кафе Риш; Пузик твердил себе: «Спать... спать...» и не отнимал больших пальцев от ушных скважин.

Близко, близко лес — и лес ведет, поведет, уведет убегающими тропинками к новой жизни...

«Ваша фамилия Животик?» — Пузик отчаянно метнулся в сторону, слепо...

— Вставайте! — будил его присяжный поверенный: наверху стучали шваброй.

Светало, своими неведомыми путями, тайными прорехами просачивались в погреб белесоватые тени, штабс-капитан крестил рот и тут же отплеывался.

А полезли вверх — опять штабс-капитану мешал Пузик.

— Вот народец!

В избе, переобуваясь, морщась от грязных, в кровавых пятнах, портянок, говорил штабс-капитан Пузику, битому столько же раз, сколько он сам, очкастый, был бит от Екатеринодара до Орла:

— Сидели бы в России. Теперь она ваша. Не Россия, а Жидовия. Вот ваш... главнокомандующий... Почему бы вам не стать инспектором кавалерии. Ну-с, почему? Не хотите? Не нравится? Маловато? Маловато? — уже трясся штабс-капитан и замахнулся корнеобразным смуглым кулаком, потной портянкой. — Натес, нюхайте, чем наградили нас...

Слетели очки; присяжный поверенный толкал Пузика к двери: «На минутку, ради бога, на минутку, уйдите», штабс-капитан на четвереньках шарил по полу.

Пузик отвел руку адвоката, поднял упавшую портянку и положил ее на стол.

— Кушайте на здоровье! — И усмехнулся одними глазами, губами не смог — прыгали они и не слушались — и вышел: Пузик, у кого тройная тяжесть и тройной крест.

От крыльца к опушке уходило поле, серое, мертвое, с сухими буграми, петух за плетнем кукурекал хрипло и лениво. Плыл туман рассветный от Днестра, и не потому ли безмерно далеким казался лес, зыбко-недоступным — Пузику, бородавке его, которая при штабс-капитанской портянке один раз, впервые, не пожелала свисать, а задралась кверху.

А в обед Повидло привел перевозчика — и снова поникла она: перевозчик запрашивал дорого, Пузик ошибся в расчетах: керенки за эти дни подешевели, перевозчик требовал романовских, а уговорам не поддавался; плохим дипломатом оказался Пузик — это Мильхикеру легко сговариваться с афганистанцами или индусами.

— За всю вашу компанию уступлю тройку, — подобрел перевозчик. •

— Этот не наш, — отчеканил капитан, указав на Пузика, чтоб явственно было. — Сколько за двоих?

Присяжный поверенный отвернулся, перевозчик хлюпал носом и мусолил, пересчитывая романовские сотни: мелькали Екатерины. Пузик внезапно разомлевшей спиной прислонился к печи, а печь, хоть и широкогрудая, не поддерживала и все пыталась отодвинуться, — отодвинуться, пошатнуться и упасть.

Лесом шли так: впереди перевозчик, за ним Вересов, последним штабс-капитан в высокой зимней шапке, — куда шапка, туда и обезумевший взгляд Пузика.

А когда, вдруг подпрыгнув на кочке, исчезла она за трехобхватным дубом, Пузик рванулся, а рванувшись, все уяснил себе: и как, за прикрытием таясь, все вперед и вперед идти, и как ступню ставить, чтоб валежник не хрустнул, чтоб ветка не щелкнула, и как обманом, великим обманом напоследок вцепиться в единственную дорожку.

«Как ваша фамилия — Животик?»

Так и было: рванулся...

«Голта наша — жиды ваши. Жарь. У-у-ух!»

Так и произошло: рванулся — и минутой обернулся двухчасовой лесной путь, и кровь послушно застыла, и колени стойко подчинились. И только когда на блеклой стали реки зачернела лодка, и лодку толкнул перевозчик, а штабс-капитан и Вересов плюхнулись туда, — понял, что тропинка подвела, а его, пузиковому обману, грош цена.

Но ведь было так: рванулся — и дорвался, один берег кинул, чтоб другого достичь, — нельзя же без берега.

— Ой! Ой! — И, еще осязая дно речное, ухватился Пузик за борт лодки, Пузик по горло в воде, а сентябрьские струи резали и кромсали грудь, но нельзя же без берега.

— Куды, куды, стерва? — шипел перевозчик, ошалело забегавшими глазами щупая румынский берег, но все же весла придержал.

Присяжный поверенный поднялся и протянул руки, лодка качнулась.

— Идиот! — рявкнул штабс-капитан. — Сядьте. Утонем. — А перевозчика увесисто огрел по спине. — Вперед, сукин сын!

Лодка клюнула носом, точно утка, дернулась, виляя кормой, опять клюнула и понеслась — и полетел Пузик за ускользящим дном, быстро, быстро, будто наотмашь швырнули его с избяного порога в погреб — в тьму, навеки.

...Должна же придвинуться Земля обетованная под древним и своим, по праву, небом!..

Как облака небесные побежали и сомкнулись речные волны...

Вечер, ночь, другое утро — и опять от Днестра потянуло рассветным туманом, и снова Гранька, жена Повидлы, постучала шваброй о пол, чтоб вылезали из погреба новые беглецы.

Москва  
Апрель 1922

## МИМОХОДОМ

**ЕЩЕ** в июне в отряде было человек триста, тачанок десятка два — обоз, честь-честью, с обозными.

Гаврюха за интенданта, зарубки делал, вроде прихода-расходной ведомости, сколько гимнастерок и штанов увезено с красноармейского склада под Голтой, сколько чаю, бумазеи, хрому и прочего добра бог послал на разъезде двадцатой версты, когда на разобранных рельсах окоченел поезд, передние вагоны кувырком по косогору, а уцелевшие мешочки наутек в лес, и сколько ботинок, сапог да пальто с покойников под обломками.

И максимычи были — пять штук.

Еще к концу июля прибыл гонец от атамана Мурылы, от правобережного, с нижайшей просьбой Днепр перемахнуть, людишек в одно соединить, и не так, чтоб в подчинение, а на правах равных: команда по очереди и дележ пополам.

И Мурыле отвечал Алексей Ушастый, трех сотен начальник и командир над пятью пулеметами (был

еще другой Алексей, под Вознесенском, Безухий, кого поймали в прошлом году, обезушили и расстреляли, а оказалось: не достреляли, уполз с красными пулями и выжил):

«Не хочу, потому что я сам по себе, а у меня не людишки, а партизанские революционеры за волю и землю для российского народа против комиссаров и жидов по тайному и равному голосованию, а ты, сукина сволочь, деревни палишь и на карачках в гетманы ползешь. Долой гетманов, офицеров и всякую власть. Ура!»

Диктовал Ушастый, а писал Симеон, из конотопских семинаристов, углем из костра потухшего по сосновой доске; доску обстругал Гаврюха...

Гонец доску взял, под рубаху сунул и ускакал, молча, как молча привез письмецо с сургучной печатью и шнурком.

Потом, когда к югу повернули и возле речушки на ночь расположились, Симеон подполз к Ушастому, под кусты.

— Почему ты Мурыле сам не написал, а мне велел?

— Неграмотный я, — нехотя сказал Ушастый и зевнул. — Спи уж, поповна.

— Неграмотный? А у кого записная книжка за голенищем? С карандашиком... А намедни кто в ней все чиркал да чиркал?

Вскочил Ушастый...

Утром двинулись, верст пять отъехали, и схватился Гаврюха: нет поповича — погнал двух в поиски, атамана не спросясь, за что и наказан был Ушастым: в строй отправлен на неделю.

А двое к вечеру нагнали и сапоги Симеона привезли, утопленника.

Ночью Ушастый из-за голенища вытащил записную книжку, исписанную мелким-мелким бисерным почерком, за пазуху спрятал и усмехнулся: не лезь, Симеон, конотопский семинарист, куда не надо.

В книжке прибавилось:

«Любопытно, до какой степени хладнокровия я дойду? Надолго ли я запомню кусты, речку сонную и пальцы скрюченные?»

К сентябрю от трехсот осталось десятка полтора, пулеметы побросали, когда от курсантов росным утром врассыпную кинулись — обильно напирала курсанты, ночью промоинами обойдя, — немотная ночь и не шелохнулась, когда по мураве поползли красные звездочки, сеть сплетая.

И тачанкам — обозу воинскому — конец пришел: интендант Гаврюха на сосне болтался, высунутым языком иглы лизал.

В комок собранный отряд, в грязи вываленный, катился к румынской границе.

Боцала единственная уцелевшая лошадь — Ушастый крепко в седле сидел, а лицо как перчатка замшевая: скулы обтянуты, лоб, губа к губе притянута, и все серое — щеки, глаза, и за пазухой книжка в переплете сером.

К румынской границе — для пятнадцати отдых, водка румынская, девки бессарабские, лепешки кукурузные, а для шестнадцатого только действие третье (первое в Москве!) — харчевня на Днестре, русский офицер в штатском: «Здорово вас потрепали.



Ничего, отыграемся», купе в скором на Кишинев, вместе с офицером, отель, салфетки, белье тонкое — после вшей! — чтоб потом опять назад, по степям новороссийским, к грязи, к тачанкам, к перелогам, к ночевкам в лесу, к визгу пуль, к дыму, к крови.

К концу недели уткнулись в железнодорожную насыпь и вдоль пошли; десять верст отмахали — восемь железнодорожных будок обчистили, но маловато: только лук, хлеба немного да крупы ячневой. Ночью деревню обогнули, в овраге притаились: Ушастый разрешил побаловаться, на избы налететь, но с уговором — не убивать и баб не трогать.

Поутру, деревню подпалив, уходил отряд.

Ушастый, стремена напряжинив, ждал, пока последний из отряда в лесу скроется, глядел на дым, на снопы огненные и по передней луке пальцами барабанил.

А за лесом, копоть покинув, трескотню крыш, вой бабий и стон мужицкий, повстречали всадника: бугор в поле, а на бугре всадник.

Пятнадцать винтовок одним звяком к плечу, Ушастый коня пришпорил, а с бугра крик:

— Стой! Стой!

И спешился всадник, винтовку на спину перекинул и, руки подняв, к Ушастому.

Окружили: пятнадцать бородачей — все обросли, все в коросте — хриплыми голосами наперебой: «Эй... эй!..» — пятнадцать глоток, пятнадцать бородачей, а посередине, в кругу, мальчик, юноша —

безусый, голубоглазый, а в глазах голубых ни страха, ни испуга, ровен взгляд.

А из-под козырька старой казачьей фуражки, выцветшей, каштановая прядь по лбу — кудрявая, в крупных завитках.

— Чей?

— Миловановский.

— Врешь!

По мальчишескому лицу смешок пробежал:

— Спроси Милованова.

— А где он?

— За Брозняками. Семь верст отсюда.

Бородачи расцвели: Милованов близко, еда близко, водка; лошадей дадут.

Гонец не обманул: привел к Милованову.

Хотя водкой не угостили, но лошадей дали: у Милованова на поводу табун целый, лишний.

И Ушастый весь вечер с Миловановым шептался, у костра — коньяк пили — командиры! — какими-то бумажками на свету обменивались.

А в провожатые, чтоб с дороги не сбиться и напрямик к Днестру попасть, дал Милованов юнца.

— Дошли! Золотой паренек!

— Кто он? — спрашивал Ушастый и тяжелым сапогом по углям бил — искры летели, вспыхивали и гасли в темноте.

— А кто знает. Пристал в прошлом годе — и ладно. Парень веселый, хороший парень. Запевало наш. Дай пулемет — с пулеметом справится. Поставь над сотней — сотню поведет.

На рассвете распрощались с миловановскими и тотчас же рысью взяли: тянуло холодком, первая изморозь белым порошком посыпала кончики трав.

Паренек голубоглазый дремал, в седле покачиваясь; сонно сказал:

— Влево, по тропке. — И набок пригнулся; под фуражкой розовело маленькое ухо.

А когда обогрело, паренек запел; пел тонко, приятно, бородачи слушали, Ушастый подсвистывал сквозь зубы, — знакомая песнь, ох, знакомая!

Соловьем залетным юность пролетела...

Расстилалась степь, на горизонте дымило — к Одессе, к синему морю мчался поезд.

В полдень по дороге попалась рощица, темным пятном мелькнула по серой равнине. Ушастый сказал, что можно привалить, велел порядок блюсти, а сам спать завалился, пока похлебка поспеет.

А на привале, когда по роще рассыпались за ягодами да за грибами, бородачи на той стороне наткнулись мимоходом на повозку; в повозке дед старый, девушка с ним, а лошадь пегая на свободе траву щиплет. Деда мигом по рукам по ногам и кляп в рот, а девушку поволокли: по чину и по дисциплине сперва атаману. Ушастый выругался и молвил, что не нужна ему девка.

Девушка лежала на земле; стиснув зубы, хрипела; бородачи стояли кругом.

— Жеребий кидать, — сказал Мотья с серьгой и загоготал; серьга запрыгала. — Кому перво-наперво.

— Пятнадцать душ... — раздумчиво проговорил тот, кто первый повозку увидал. Патлатый, густо волосами поросший. — Выдержит? — И носом шмыгнул.

— Сорок и то! — рванулся Мотька и шапку с себя снял. — Хлопцы... Кто шапку закинет... дальше — тому девка для почина. Моя шапка — моя девка. — И кинул.

Полетела вторая, за ней третья, пятая шапка...

Ушастый тряхнул головой и привстал: вытянул шею, следя, куда шапки ложатся, брови сдвинулись — внимательно следил.

— А я? — близко звякнул молодой голос — и оборвался.

Расталкивая передних, влетел в круг паренек голубоглазый, а уж глаза не голубели — темными были: темнее рощи, темнее фуражки его.

И — только Ушастый заметил — побелели губы, да завиток мокрый прилип ко лбу.

— Кидай! — гаркнул Мотька.

И боком, вкось брошенным кружком, засвистев, полетела фуражка.

Теснясь, отходили бородачи; на руки взяв девушку, голубоглазый шел к рощице, шел и сгибался: тяжела ноша.

— Не волынь! — кричал Мотька вдогонку и следом шел. — Мой нумёр, моя очередь... Го!

Очередные переминались с ноги на ногу. Ушастый снова лег — грело солнце, хорошо то спину подставить, то грудь — и Ушастый первый же вскочил,

первый стал коня ловить, когда вдруг завопил Мотька, из роши выбегая:

— Утекает!.. Утекает!.. Братцы! Братцы!..

И наперерез справа кинулся Ушастый — рощу огибая, мчался по степи, на коне чужом, голубоглазый, золотой паренек, и по ветру трепалась синяя юбка, поперек коня.

— Ге-ей... Сто-о-ой!..

Конь уходил... Слева, дугу описывая, неслись Мотька и Патлатый.

Мотька вскинул винтовку...

Когда уж седлали коней, чтоб привал покинуть, и уж с паренька были сняты сапоги и гимнастерка, и Мотька сапоги примерял, а девушка на валежнике не дышала под синей юбкой, накинутой на лицо, последним, пятнадцатым, подошел к Алексею Патлатый и сказал угрюмо, точно из лесной чащобы медведьдохнул:

— Девка.

— Ну...

— Что «ну»? Паренек-то — девка. Гимнастерку потянули, а глядь... — И повел к убитому.

Подвернув ногу, лежал паренек, покрытый шинелью до подбородка, кудрилась каштановая прядь — золотой паренек, на траве отдыхает, вот-вот полуоткрытые губы запоят тонко и приятно:

Соловьев залетным...

Ох, знакомая песня, знакомая!..

Патлатый нагнулся, поднял шинель — и под нею увидел Ушастый край рубашки тонкой, с прошивкой, и грудь — маленькую, упругую, девичью, мертвую.

Долго стоял Ушастый, а лицо, — как перчатка замшевая — все серым затянуло. И за пазухой книжка серая — и внесла в нее попозже тугожилная рука, но почерком мелким, бисерным:

«Батистовая рубашка... Голову отдаю, что не краденая, своя, а грудь — как у моей статуэтки Бурделя, которую я когда-то проиграл барону Остену. Что еще попадетя мне на моем страшном пути? Удивительная все-таки моя страна, Русь проклятая».

Красково под Москвой

Май — июнь 1922

# ПАНОПТИКУМ

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

### I

**Б**ЕЛЫЕ дни и белые ночи — все белым-бело. Сугробы в рост человеческий, за воротами во дворах, по садам за плетнями, по огородам горы неукатанные, между небом и землей ни одной точки, ни одного пятнышка, а внизу куцые домишки и покляпые хибарки, как изюминки в сдобном пушистом каравае.

Второй год жизни города Красно-Селимска — сотни лет знает за собой городок Царево-Селимск. Но — красный ударил по царскому затылку, исправника застрелили на Козьей Горке, в участке на стенке четырехугольное белесоватое пятно вместо портрета с короной и державой, на тех же гнилых обоях с мушиными воспоминаниями, но на другой, соседней, стене новый портрет, гарнизонный начальник на Кубани, в его дому районный комитет, из Бори-

со-Глебской обители раку с мощами увезли в вагоне с надписью «рыба», петербургский футурист в фуфайке с вырезом открыл студию поэтики, а снег все падает и падает.

До снега, в мокрую, мелко дрожащую осень Красно-Селимск во тьме: на электрической станции нет дров, за керосином красноселимцы охотятся, точно в прериях за редкостным зверем, главного мешочника Евдокимова за пять улиц слышно — так несет от него нобелем, мазутом и еще чем-то, в студии поэтики после вечернего семинария девушка одна дает петербургскому футуристу пощечину и кричит надорванно: «Негодяй, обманул», — и футурист поутру удирает с казенным билетом и мандатом без оглядки, древняя старушка в хлебной очереди плачет кровавой слезой и грозитя рассказать Господу Богу про все людские пакости, а дождь все сечет да сечет.

Дождь над Красно-Селимском — войлоком тучи над всеми полями, над всеми оврагами, буераками и проселочными дорогами, мокнет Питер, мокнет Кострома, грязь в Москве у Иверской, мутные потоки в Канавине под Нижним, — на Урале, в Сибири, на Украине по колено в воде полки, дивизии, мокрые пушки, мокрые обозы, мокрые декреты на русских мокрых заборах — и шлепает по лужам Русь, шлепает и не боится, шлепает и сквозь тучи с солнцем беседу ведет:

— А ну!

...Дождик, дождик, перестань...



## II

В ноябре, сейчас же после празднования годовщины, нагрянул в Красно-Селимск важный гость из Москвы. У него свой вагон и автомобиль на прицепленной платформе. Два раза рывкнула сирена, взбудоражила улочки, переулки, тупички, лошадей напугала и двадцатипятилетних, от регистрации уклонившихся, а на третьем осеклась: автомобиль застрял — на главной улице; засосала грязь, запутался в темноте — и в этот же час Красно-Селимск твердо и решительно объявил войну тьме.

Тьма проваливается, как в театральный люк побежденный дьявол, один за другим бегут вперегонки электрические чудотворцы, и после долгого перерыва загорелась на Спасо-Кудринской, радуя мальчишек, курьеров и советских барышень, правда, худосочная — всего-навсего три лампочки, — но все же ослепительная вывеска:

### «Паноптикум»

На Спасо-Кудринской, ныне Триумф Революции, почти на главной улице: неподалеку Совет, тут же центральный распределитель, здесь же заколоченная, полусожженная охранка. Горит, зовет, манит, привлекает вывеска, и еще как горит, и еще как зовет, и какие чудеса обещает!

Дождь, грязь, слякоть, дождь, дождь, темно-бурая мешанина, под ногами, над головой небо, как байковое больничное одеяло, — и все-таки:

### «Паноптикум»

Но как только завыла первая метель — так все прахом пошло в Паноптикуме.

А начало незадачливым дням положил скелет морского человека.

Внезапно, неизвестно почему, он уронил свои подпорки и мелко рассыпался, но так, что ребра легли поверх коленных чашек, а берцовая кость упала на скулы. Раньше гордо и даже презрительно-гордо стоявший на возвышении, точно державный повелитель, вознесенный над ничтожной и одноликой толпой, он обратился в нелепую кучу желтых, нет, даже не костей, а пустых дрянненьких костяшек.

Почему — неизвестно; может быть, от холода: весь ноябрь не топили; возможно, и от тоски: мало внимания уделяли ему редкие посетители, и слишком часто стреляли на улице — и так ощутительно близко, что у скелета пальцы вздрагивали, точно подвески на люстре; а может быть, от обиды и горечи: только вчера какой-то матрос сунул ему в рот слюнявый окурок и по черепной крышке хлопнул ладонью, сказав: «Шут гороховый, идиот собачий».

И свалился с трона своего и пал низко морской человек — бедная залетная птица из неведомых стран — и кончил дни свои под свист русского зимнего ветра, на Спасо-Кудринской, ныне Триумф Революции, дом номер три, Пущевского участка.

А в этот самый почти час начальник милиции составлял грозную неукоснительную бумажку о немедленном закрытии специального женского отделения, как неприличного.

### III

Милицейская барышня с челкой, в казенных валенках, выстукивала на ундервуде:

«...В 24 часа не имеющего в себе никакого научного следа, кроме как порнографии и приманки для темных элементов города...»

И отделение для женщин, где по пятницам в банках из-под варенья показывали зародышей, в ящике со стеклянной крышкой — слепки половых органов, кишек и сифилитических язв, а за синей занавеской — фазы беременности и знаменитых куртизанок, закрылось.

Закрылось бесповоротно, как окончательно в небытие ушел морской человек — к картофельной шелухе, к битому стеклу, к отбросам: из морских таинственных глубин, пробираясь Лондоном, Тулой, Пекином, Либавой, Калькуттой, через десятилетия, столетия, туманы, тропики, снега, мимо кафедр, цирков, полисменов, цилиндров, городских, кепок, солдат, учителей, московских кожаных курток, парижских гаменов, проституток, сквозь революции, войны, бунты — к помойной яме на задворках бывшего дома купца Чашина.

### IV

Объяснения насчет язв и прочего давал сам Цимбалюк.

Был он сед, вежлив и почтенен с виду, а фотографиями и картинками ведала Маргарита, она же в остальные дни, кроме пятниц, женщина с сердцем

в правом боку, в правом без обмана: приложишься, и слышишь, как бьется живое сердце, по-настоящему, как у всех прочих — в левом.

## V

Маргарита, скрепя правое сердце, перетасила банки в чуланчик, фотографии куртизанок (от любовниц фараона Рамзеса до черкешенки Абдул-Гамида) сунула за картину «Клеопатра на ложе», Цимбалюк забил ящик с язвами, а в субботу, подсчитав выручку, смятенно потряс фальеровской бородкой и ночью поколотил Маргариту — бил ее по левому боку, оберегая правый.

А тут еще что-то свернулось в груди раненого бура, и он перестал дышать: крикнул, поперхнулся и затих. И вдруг восковая тиролька с щелочкой сбоку, куда раньше бросали пятаки, стала лениво мигать, точно вошла в соглашение с буром. Мигала нехотя, паскудненько, не чувствовалось в ней прежнего усердия, и не искрилась прежняя игривость, когда за медный царский пятак подмигивала тонко, завлекательно, словно приглашала к себе для приятных утех.

Никто не мигает, никто не дышит — мертвым-мертво, как на улице, где снежная пыль завивается и несется вдоль беспробудных домов. Никто не дышит, не подмигивает, к ящику с монетами Людовиков, Карлов и Иоаннов Безземельных редкий приближается, хотя осанисто возглашает Цимбалюк, что сию монету в своих собственных руках держал Людовик-Кенз Шестнадцатый, и розовощекая Мария-Антуанетта

в напудренном парике напрасно подтверждает это царственной улыбкой пунцовых губ, — королева, казненная народом за излишества и развратную жизнь, и тщетно в ящике с двумя глазками пылает пожар Брест-Литовска, и безуспешно гарцует на Аркольском мосту маленький пузатый корсиканец.

И если бы не человек-кости-да-кожа — Збойко, двенадцатипудовая женщина — Жарикова и девица с трехаршинной косой — Клара Анисимовна да липнут Альфонс Матэ, он же Егор Сушков, клинский мещанин, побежала бы Маргарита к реке и возле зеленоватой проруби расплатилась бы сразу за все мосты, за все язвы и все революции: и за ту, когда казнят за непотребную жизнь, и за ту, когда дров не сыскать, и слесарь Митька не хочет чинить раненого бура без ордера.

В декабрьский мороз овеществленный — хоть на ощупь бери, — карающий в пустынных улицах, в декабрьскую стужу, цепкую и в домах, когда на окнах тройные узоры, а за окнами тройная тишь, белая гладь и белая смерть, упали со счетов — бур в австрийской куртке и красноармейских обмотках, тиролька-завлекательница, крохотные зародыши в мутных банках, где раньше липко грудилась засахаренная малина, и уродец с раздвоенной головой, раскосый, блеклый и вялый, как дохлый лягушонок.

А в канун Рождества, метельный, голодный, безветчинный, в аннулированных карточках, вьюжно-хриплый, в саночках с промерзлой свеклой, — поспешили за мертвыми — гипсовыми, восковыми — и живые.

Первой исчезла двенадцатипудовая Жарикова, стащив платок Маргариты и бархатные туфли великой трагической актрисы Рашель, еврейки с крючковатым носом на восковом, цвета шафрана, лице. Платок и туфли, нырнув, выплыли на Новом Базаре в обмен на конину и кислую капусту: без капусты двенадцатипудовая икала беспрестанно, испытывая особое стеснение в тугих набухших грудях с прямыми твердыми сосками.

За ней, лихо взмахнув косой, точно рыба хвостом подальше от крючка, ушла Клара Анисимовна, а дней через десять, уже коротко стриженная, в мелких кудряшках, приставала панельной к красноармейцам и быстро наметанным говорком просила угостить папироской «птичку-невеличку, сочувствующую большевичку».

Кожа-да-кости Збойко таял со дня на день, и хотя это на нем незаметно было, только лицом серел да уши свисали ниже, как у лягавой, — Маргарита все же не сомневалась, что и он сбежит: недаром он к окнам подходил, на стекло дышал и голодными глазами шарил по соседним трубам — дымки вьются, люди ложками стучат.

И все свои последние чаяния возложила Маргарита на лилипута, на Альфонса Матэ, на дряблые щечки его, на тоненькие ножки и ручки, на Егора Сушкова, на цилиндр его и сюртучок, на Егорушку — верного и неизменного, на его большую преданную душу в крохотном тельце.

А вьюга — вьюга-то все разворачивалась и разворачивалась.

Потопила пяток тощих елочек на Сенном рынке, заглушила рождественский звон, сани председателя Совета кувыркком сбросила в Лисий овражек, как раз в ту минуту, когда председатель торопился на собрание, с новым из центра декретом, а декрет важный, а овражек глубокий, и края его обледенели. Погубила Клару Анисимовну, заморозив ее, ошалевшую от ханжи, в подворотне тайного кабачка, отняла единственного в городе поросенка у подрядчика дров при комиссариате и перебросила на другой конец города, ночью, когда пришли арестовать за осиновые вместо березовых. В трубе гадалки и хиромантки Миничкиной завывала звериным воем и в седьмой пот вогнала контр-адмиральшу Копрошматину, пришедшую не в первый и не в последний раз узнать по бубнам и пикам, когда уйдут большевики и где ныне сын ее, корнет с Георгием, красавец с белокурыми усами.

## VI

И, на мгновение разорвав вьюгу, вышел из снега, из белой мешанины лидер анархистов-эгоцентристов Антон Развозжаев.

Раз-другой стукнул он в дверь Паноптикума, — в храм Цимбалука, — нарушил тишину единственного убежища Маргариты, женщины с сердцем в правом боку...

И сердце это, как у всех прочих в левом, забилося жутким биением и замерло, холодея, когда, наткнувшись на Марию-Антуанетту, крикнул Развозжаев:

— Где хозяин?

А Мария-Антуанетта не выдержала напорного толчка, зашаталась, качнулась, упала во весь рост, и с коротким треском отскочила ее голова — отскочила и покатилась по полу, рассыпая гипсовую пыль: синевато-белую сухую кровь.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### I

На соборной площади, за холмом братской могилы Яшка ущемил обледеневшего мужичка, кончиком нагана заставил повернуть дровни назад, наградив обещанием четверти махорки и тонких афишек на собачьи лапки — и к полудню перевез в Паноптикум из прежнего жилища, из особняка, откуда вдруг пришлось удалиться, все групповое добро.

Чуфыкали дровни, везли в Паноптикум шрифт, козлы для пилки дров, детскую коляску Серафимы, типографский станок, печки железные, самовар и литературу.

На Малой Болотной зашептались:

— Большевики уходят.

Контр-адмиральша Копрошматина, обомлев от радости неопишуемой, по полу коленями шаркала, два башлыка рысцей побежали на Дурылинскую к соборному протоиерею, и башлык башлыку по дороге предлагал прежде всего ударить в большой во Владимирской, в комхозе барышни роились и к казначею приставали, чтоб сразу за три месяца вперед выдали.



А для себя взял Яшка, захватив тайком, обернув тюлевой занавеской, чтоб Развозжаев не заметил, заводного слона с палаткой, с вожатым, постукивавшим молоточком по слоновой башке, — затейливую игрушку из последних остатков княжеского добра. Князь вино курил, перегонные кубы служили верой и правдой, богатства множили, княгиня в кадетский комитет входила, с графиней Паниной переписывалась и слонами обзаводилась для счастья: слоны на туалетном столике, слоны на этажерках, слоненок на браслете. Обзаводилась-обзаводилась — и всех слонов порастеряла; первый — туалетный — в апреле семнадцатого скovyрнулся, последний, замысловатый, с туринской выставки, Яшке достался — на Яшкино счастье, а князь ныне в Париже о России хлопочет и для нее и для своих кубов подходящие законы сочиняет.

А тяжелый сундучок, окованный медными полосками, глаз с него не спуская, всю дорогу ощупывая его, Яшка перевез отдельно, подложив тюфяк снизу, и дома с самим Развозжаевым перенес его в заднюю комнату, про которую Развозжаев сказал, что он берет ее себе.

И на Большой Болотной зашущукались:

— Большевики золото увозят.

И два новых башлыка галопом помчались, мигом сугробы преодолев, к отставному полковнику Седенко, у кого уже лет десять ноги бубликом от подагры и ветхозаветная берданка припрятана в чулане, и башлык башлыку на ходу, мерзлыми рукавицами размахивая, твердил пароль.

За день все понемногу подошли, со всех концов города.

Пешком заявился Соломон, еврей с кривой горбинкой на носу и выпуклыми базедовыми глазами. Сразу на раненого бура набрел, прочел записку на животе о том, что бур дышит, тронул его, прислушался и тут же, не снимая пальто, стал ковырять перочинным ножиком. Ковырял, ковырял и доковырялся: бур задышал, а Соломон, постояв немного, улыбнулся, не то удивленно, не то радостно, но вдруг нахмурился, отошел и лег на ближайший диван, шапку натянув на уши.

На извозчике подъехали Лесничий и Васенька — Лесничий с воблой, Васенька с караваем; Васенька — беззаботно напевая, Лесничий мрачнее лешего, и воблу швырнул с размаху в качалку на колени Рашели.

Зину Киркову, девушку в очках, в высокой серой мерлушечьей шапке — из тех, что круглый год носили когда-то актеры малороссийских трупп и скупщики лошадей, — сутулую, в сафьяновых цветных сапожках из реквизита городского театра, кто-то в оленьей дохе примчал на широкобедрых санях с медвежьей полостью.

## II

А дед Марат Петрович, лысый, апостолообразный, как всегда, пришел с ворохом газет и бумаг, как всегда, пройдя мимо вещей, не поглядев, куда его судьба заново закинула, мигом умудрился чернила раздобыть,

засел за столик, прямо против уменьшительного зеркала, — и отразился на зеркальной поверхности крохотный рыбарь Петр, ловец человек, в старом порыжевшем свитере.

### III

Заскрипело перо, заскрипело — будет человечество счастливо, — должно быть, будет человек горд, смел и свободен, орлом станет человек, а темная закандаленная земля — вольным безоградным лесом.

В обед Яшка принес деду ячневой каши и воблы кусок.

Пожевал дед — и тот, что в зеркале, тоже губками пошевелил и тоже на бороде оставил немного каши и две-три чешуйки.

И опять побежало перо по старым бланкам военно-промышленного комитета: будет человек вольным богом, грянет вторая, пятая, седьмая революция — пусть, пусть! И кровь не страшна и дым пожаров: кровь — дождь, за дымом — огонь очищающий, вся скверна сметется.

А в десять часов вечера, как водилось по коммунальному обычаю, Яшка довел деда к постели: ботинки с него снять и, между прочим, брюки — нагибаться дед не мог, сахалинское наследство не позволяло.

На следующий день Развозжаев перевез Серафиму и ребенка.

Совсем осатанела вьюга, в комок сжала Красно-Селимск, всех заставила молчать, а Серафиму не смогла.

— Отпусти меня, — просила Серафима по дороге. — Достань для меня пропуск и билет. Не могу я больше. Христом-богом прошу: отпусти.

Развозжаев молчал; осыпанный белыми звездами, темнел, прямо глядя, сквозь снежную густую сеть, сгибался и оседал.

#### IV

К вечеру, как в незабвенное для Цимбалюка время — в дни «гала-экстренных программ» — вспыхнули все лампочки Паноптикума: и розовая — романтическая — над Клеопатрой, и фиолетовая — эффектная, — где скалил зубы араб в бурнусе, будто сорвавшийся с табачного плаката, и зеленая — драматическая — над Рашелью, полулежащей в качалке, и потаенные — там, где блестили вогнутые, кривые, уменьшительные и увеличительные зеркала.

Все лампочки воспрянули, вывели Спасо-Кудринскую из белого столбняка, кое-кого приманили к себе, одна беспокойная фигура, в малахае и романовском полушубке, даже руку в карман сунула, и пес один, тощий, как прошлогодняя вобла, в пятнах от безработицы, на крыльцо взбежал, царапая дверь.

А в боковой комнатухе, в бывшем директорском кабинетике с гроссбухом, с палками, с разноцветными афишами о близнецах, приросших друг к другу, о женщине-рыбе и девочке из Оберланда с тремя головами, сбились в кучу человек-кожа-да-кости Збойко, лилипут, Маргарита и сам Цимбалюк.

Растрепалась фальеровская борода, благородные брови понурились, а лилипут сложил игрушечные ручонки и замер комочком у ног плачущей Маргариты: только что Збойко доложил, что на ящике с древними монетами хлеб режут и чай пьют, что Рашель сбросили с качалки, около зеркал дрова пилят, и может быть, даже и колоть начнут, а когда рассказывал о хлебе — упорным, ненасытным взглядом не отрывался от дверей.

И напрасно Цимбалюк отчаянно крикнул ему: «Шкура продажная!» — человек-кожа-да-кости не ушел из Паноптикума, вместе с правомочными владельцами, не потонул заодно с ними в снегу, не запутался плечо о плечо в холодном клубке заиндевших улечек — остался, Яшкой Безруким взятый «курьером», немного погодя Лесничим зачисленный в коммуны, дедом приобщенный к анархизму-эгоцентризму. Дед худобы его не разглядел, — сам дед был худущий; что уникам перед ним — не догадался, потому что дед каждого человека считал уникамом, а в то же время от всех людей, от всей близкой боли, отгораживался крепкой, крепче кирпичей и камня, стеной из книжных черных строк.

И дед сказал, шурша бумагой, сизым от старости носом поклеывая книгу, что к великой идее в конце концов придут все, что нового сочлена, нового борца за освобождение индивидуума от цепей коллектива он приветствует во имя грядущего, и грядущее это не за горами, оно приближается, оно близко, и не остановить его.

А Яшка дал ему поестъ; покормив, пересчитал все его ребра, позвоночник изучил, на свету руку его разглядел, для чего нарочно свечу зажег, остолбенел и, насквозь пронзенный изумлением, немедленно предложил свою дружбу.

И сразу Яшке веселее стало, сразу два приятеля: человек-скелет и заводной слон, один занятнее другого. Две утехы: для дня — живой скелет, который может в любую щель пролезть безнатурно, перегнуться пополам без хруста и голову, как шиш, промеж ног просунуть; для вечера — слон с подвижным хоботом, вверх-вниз, вправо-влево, — тонкая, отменная штука.

— Буржуазная дребедень! — буркнул Лесничий, увидев игрушку.

Туп-туп — постучал молоточек, и у Лесничего зашевелилась улыбка в лохматой бороде, а Яшка еще бойчее пружинку завел.

Вот «туп-туп» — постукивает молоточек, и покачивается палатка, и шагает слон, лапу за лапой представляет, и хоботом шевелит, и егозит вожатый — шоколадного цвета человечек — Махмутка.

Доволен Яшка — зимним вечером, когда почти все в разброде, а он остается дежурным, оберегающим групповое добро и мальчишку Серафимы. Ложится животом на койку, никнет к полу, подталкивает Махмутку и ухмыляется — «туп-туп» — Яшка Мазников, ставший «безруким», руку потерявший в бою под Царицыном, Безрукий, убежавший дерзко и смело из казачьего плена, прямо из-под пули, когда другие пленные уже царапали в последних

предсмертных судорогах сырую окровавленную и как будто чужую — не свою — вражескую русскую землю.

«Туп-туп» — от Гжатска через Царицын, Каспий, Кубань и башкирские степи к коммуне, к тиши сонной красно-селимских зимних вечеров, к ёгоцент... — и не выговоришь, но дед знает, как надо промолвить.

«Туп-туп» — от станового, мимо Гинденбурга, Керенского, Ригой, Варшавой, мимо Троцкого, Врангеля, деда Мариуса Петровича к Махмутке.

Пружинка разворачивается, сворачивается и снова разворачивается.

## V

Рашель лежала на полу (качалку облюбовала Зина Киркова) лицом кверху; нос крючком заострился, к сумеркам точь-в-точь как у мертвой.

И в немой скорби пять-шесть минут, пока света не зажгли, постоял над старой — новой — покойницей бывший директор Цимбалюк, подкраившийся тайком, смявший в горести и страх и трусость. И поплакал бы, да вблизи шаги раздавались, и на колени бы встал для последнего прощания, но не разогнуться потом придавленному, коленопреклоненному в смертельной обиде.

И задом — к стенке, все ближе к стенке — отходил Цимбалюк, а нос Рашелин все выше и выше поднимался, с укором.

Все вповалку легли: и Рашель, и Мария-Антуанетта (вторично обезглавленная), и самоед с колча-

ном, монеты потускнели, зародыши в банках осушились, зеркала затуманились, а живые в кабинете не знали, как им с ногами своими, руками быть. Лилипут в одном углу полежал — в другой переполз; запылится крахмальный воротничок, голубенький галстучек, такой нарядный дня два тому назад, тесемкой обернулся, и горошинки сморщились. Маргарита по ошибке за левый бок хваталась, а ныло-то и жгло в правом, Цимбалюк плакаты в трубку свернул и трубкой тихонечко-тихонечко стучал по столу.

Тихонечко, когда хотелось молотком, молотом колотить и кричать, кричать без устали, без передышки о том, что проклинает он революцию, что уродец с раздвоенной головой единственный, кто мил и дорог ему в проклятой России.

Поутру Збойко в дверь просунул воблу на веревочке — Цимбалюк цыкнул.

Збойко дернул веревочку — и вобла отпрянула.

— Хриstopродавец! — крикнул Цимбалюк; лилипут сжал ручки и всхлипнул.

Часа в три стали дрова рубить, зеркала задрезжали — с трубкой наперевес кинулся Цимбалюк в залу и налетел на Лесничего, хмурого и волосатого.

По-бабьи скулил Цимбалюк, потом долу клонился, потом трубкой потрясал — последним знаменем уцелевшим, потом Божьим гневом грозил.

Но не бояться Божьего гнева волосатые, да и всякого, потому что сказал Лесничий, будто ему на всех наплевать, даже на самого главного с портрета, если Цимбалюк доберется до Москвы и пожалуется



Цику, и законов никаких он знать не хочет, кроме одного, что называется «Я» и пишется с прописной буквы.

Не разрешил Лесничий вывезти фигуры, зеркала и монеты, только позволил взять носильные вещи да из постельного немного — и нагрузился Цимбалюк до бровей, и Маргарита согнулась под узлом, и Егорушка свою корзиночку с галстучками и цветными манжетами поволок в неизвестность, в пространство — и себя туда же.

Но на дороге попался им трехаршинный неунывающий Васенька и с налету, как всегда, как во всех случаях своей стремительной и не оглядывающейся назад жизни, порешил судьбу лилипута.

## VI

— Это что такое? — протянул Васенька и пальцем ткнул в лилипутские плечики.

А минуту спустя он заливался в коридоре:

— Соломон! Соломон! Иди сюда! Соломон, у меня замечательная мысль! Соломон, этого маленького человечка мы оставим у себя.

И, схватив Егорушку за шиворот, он пушинкой поднял его с полу.

— Человечек, мы все человечество хотим поднять на высоты. Мы и тебя поднимем.

Егорушка заболтал, взлетая, желтыми ботиночками, Маргарита ахнула и уронила узел.

— Господин!.. Товарищ! — пискнул лилипут. — Господин товарищ!.. — И, закрыв помертвевшие

глазенки, свесил головку с гладеньким, реденьким пробормом.

— Дурак! — тихо сказал Соломон. — Чем мы будем кормить его? — И презрительно выпятил толстую негритянскую губу.

Нырря в сугробах, уходили Цимбалюк и Маргарита; Маргарита стонала и порывалась бежать назад к Паноптикуму, но Цимбалюк передним узлом толкал ее в спину.

Падал, падал снег — небеса что ли прорвались? — и все крыл да крыл и все к земле давил да придавливал вчерашний царев, а сегодня красный город.

Белый город — все белым-бело.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

### I

До Рождества еще кое-как держались красноселимцы, даже позволяли себе изредка и о гусе помечтать, не очень серьезно, с усмешечкой, будто в шутку, но все же мечтали в чаду дымных своих печурок-самоделок; на печурку ставили утюги и поливали их водой, чтоб пар шел и мешал комнате, жилью, углу, конуре обратиться в тундру сибирскую.

А город-то, весь собранный в одно, с церквами, с кладбищами, с заколоченными магазинами, с безработными монахами, с пролеткультом, с ребятишками в фурункулах от недоедания, с памятником Лассалю, с подпольным базаром, с севера, с запада, с юга и востока окаймленный мертвыми бесплодными

полями, тундрой, давно уже расстился и давно уже прочертни его застыли в голодном студеном оскале.

Крепко, точно навеки, до светопреставления, до труб архангелов — и Новый год не разомкнул костлявых челюстей, даже еще крепче сдвинулись зубы.

А после Крещенья стали собак убивать: охотились за псами, суками и щенками — поодиночке, по своему умению и согласно своей разведки, и группами. Председатель домового комитета на Горшечной собрал ударную группу, с паевым взносом на текущие расходы и канцелярские принадлежности. И на Мещерской другое сообщество возникло, все из бывших ратников ополчения второго разряда.

И под первым ударом ополченцев пал бесславной смертью дряхлый, в сизых подпалинах фокстерьер контр-адмиральши Копрошматиной.

Вдогонку пошла сама Копрошматина; все она перенесла: и разорение, и расстрел мужа, и смерть сына-корнета, по пикам чернотным угаданную и раскрытую за два фунта сушеных грибов, но казни фокстерьеровской не выдержала — опрокинулась навзничь и успокоилась навсегда у печурки, возле горшка с недоваренным горохом.

В Паноптикуме доели последний каравай.

Яшка собирал корки и, густо посолив, сушил их над плитой, Лесничий метался по городу: он ведал хозяйственной частью, кормил братию, а себя тайком поддерживал маленькой дозой спирта, совсем крохотной, чуть ли не с наперсток, но без которой дня бы не прожил. О «пороке» его знал только Солломон и советовал не сентиментальничать, помнить

о своем мужичьем происхождении, не корчить кающегося дворянина, ублажать вольную крестьянскую душу, тупо не бичевать себя за каждый глоток и пить, пить сколько хочется и...

— Сколько дают, сколько можешь раздобыть.

— Выпьем со мной.

— Я не пью. Я пьян и так.

— Не валяй дурака. Каким манером?

— По-еврейски, — отвечал Соломон и хихикал.

Все в нем тогда хихикало: и губы, и кривая горбинка, и даже базедовые облупленные глаза — хихикали, зная почему, посмеивались, зная, над чем.

А волосатый Лесничий, от первой рюмки опьянев, в углу своем, под Клеопатрой в золоченой раме, горестно казнил себя и давал себе слово не позорить впредь честного имени анархиста-эгоцентриста.

## II

Первую залу, без зеркал, не отапливали, была она в стороне, у дверей сторожил самоед с колчаном: ему не привыкать стать.

За самоедом войлочный тюфячок, а на тюфячке Егорушка, а на Егорушке воротничок в три пальца шире стал: поднимет Егорушка голову — и шея вихляется. На самоеде одежда теплая, правда, молью изъеденная, но мехом поверху, и если прижаться к ней крепко-крепко, за колчан уцепившись, то теплотой попользуешься и Маргариту увидишь, не очень ясно, будто сквозь дымку, но все же воочию увидишь.

Еду Збойко приносил, в колчан Егорушка остатки прятал: на ужин и для раннего утра, пока Збойко вспомнит.

Второй день пуст колчан.

### III

Лесничий побывал повсюду; по-честному о спирте не думал, старался насчет хлеба, сахару и прочего, входил без доклада туда, куда следует с докладом, в одном месте спорил, в другом дерзил, в третьем был мягок и убедителен, а вернулся налегке.

— На нас косятся, — сказал он Васеньке. — Ни черта не дают. В Москве анархистов взяли. Нас тоже, говорят, возьмут.

— Зато будут кормить, — молвил Соломон и принялся за прежнее: стоя перед увеличительным зеркалом, высовывал язык и глядел, как он, серый, с налетом, растет, увеличивается и всю комнату заполняет.

А Васенька закричал, что стыдно эгоцентристу зариться на казенную кормежку, когда надо быть гордым, смелым и переобращивать мир.

— Мы и перевернем, — не торопясь отпоил Соломон, глазом одним косясь на другого Соломона, уходящего головой в потолок, в бесконечное пространство. — Хорошенько поголодаем, придем в раж и пойдем на Совет. Мир нашей хижине и смерть комиссарским дворцам. Возьмем власть в свои руки, а тебя, Васенька, назначим генерал-губернатором анархии.

Васенька плюнул, сказал презрительно: «Катастрофический дурак!» — и побежал на мыловаренный завод, где у него ячейка была, в ячейке пять рабочих и один конторщик. Рабочих не застал — за мукой уехали; конторщик, кутаясь в женин платок, спросил: «Когда же начнем?» — и сунул два куска мыла — на поддержку.

Лесничий до вечера шваркал сапогами, из комнаты в комнату переходя, и сучил неистово чащеобразную бороду: анархия — анархией, рундучок Развозжаева — рундучком, но без каши для деда не обойдешься, дед без вечерней каши — как рухлядь: обмякнув, никнет. И есть еще больной мальчишка, у кого ножка вывихнута, в лубке, и мальчишке без молока зарез. В Москве анархистский особняк обстреливали, мир, вселенная задрожит в великом смятении, разрушении и созидании, а как из красно-селимского продкома синий заветный ордер получить?

Дед говорит, что единица — все, а коллектив — стадо, и надо, надо, чтоб единица, интеллектуальная единица, выход нашла; у каждой такой единицы на плечах источник могучей силы — голова: хочешь — светом озарит, хочешь — тьму кромешную наведет.

Еще вчера дед читал с листочка: «Во мне, единице, та знаменитая точка опоры, которую мир тщетно искал тысячи лет, не знал Архимед, но узнали мы, и всей солдатчине стада человеческого не стереть простого чертежа, который...»

И побрел Лесничий к Зине Кирковой, к доброй приятельнице человека, у кого все ордера, все склады

и все красно-селимское существование в кармане кожаной куртки, в записной книжке.

Направился в женский уголок, туда, где возле постели стояли сафьяновые сапожки, когда-то отплясывавшие мазурку на польском оперном балу, а Зина решила, что старые времена вернулись, что опять прильнет косматая голова к неутолимой тощей груди, и откинула одеяло, в темноту протягивая обомлевшую руку.

Но после двух-трех слов Лесничего, в женском углу, в том углу Паноптикума, где тиролька у стены приткнулась, где пахло яичным мылом и на столике, рядом с растянутыми старыми подвязками, вокруг сломанного полузубастого гребня обвивались клубки вычесанных пепельно-плоских волос, послышалось со вздохом:

— Хорошо, товарищ, я завтра переговорю.

#### IV

Дед говорит, что коллектив — слепая сила, а единица — светлая, творческая — и да будет в центре всего его, я.

И долго, глаз не смыкая, плакала, ноги поджав, все тело собрав в комок, Зина Киркова, зряче плакала, а света — света не было: ни кругом, ни в душе.

И был еще один женский угол, и там ночь за ночью, много ночей подряд, другая женщина, степная казачка с бровями дугой и напорной волей, натянутой как тетива — вот-вот сорвется стрела и полетит, — твердила Развозжаеву:

— Я ненавижу тебя. В степь хочу. К ковылю хочу. От рож, от кукол хочу на простор. От твоих некулемых, от тебя самого тошно мне. Ненавижу тебя. Вот как раньше любила, как раньше за тебя всю себя резала бы по кусочкам, — так теперь ненавижу.

А Развозжаев молчал, но не клонил шишковатого лба со шрамом поперечным, и когда, переполнив душу до краев ненавистью, исцемленной тоской и сухим гневом, засыпала Серафима, упорные несытые губы не размыкая даже во сне, точно и в дреме всегда настороже, Развозжаев медленно уходил к себе: к постели своей, к станку типографскому, пока бездельному, и к сундуку. Отбрасывал крышку сундука; снимал старые газеты, отгребал тряпки и всматривался: мирно лежали друг возле друга, как плоды нездешние, из дальних сторон вывезенные, бомбы.

Швырнуть одну с колокольни, за ней третью, пятую — и не станет Красно-Седимска, огненные кони задыбят, на огненных колесах страшная весть понесется в Питер, в Москву, в Лондон, в Рио-де-Жанейро, — и ответный вихрь полыхнет, олоясывая весь земной шар, полюс с полюсом сталкивая; тропик на тропик взгромождая.

— Ты глуп, Антуан, — проговорил Развозжаев и по средней бомбе постучал согнутым пальцем; на шишковатом лбу скрестилась со шрамом тугая, злая морщина.

За стеной, поверх Марии-Антуанетты без головы, зародышей, араба, деда Мариуса Петровича в клетчатых кальсонах, сумасшедших зеркал, ни о чем не ведая, ничего не предугадывая, устав от собачьей



охоты, от очередей, хвостов, от саночек, от комиссий, от приемных, натрудившись в беличьем колесе дневного верчения, дневной сумятицы, дневных пререканий, изныв в вечерней тоске, вечерней настороженности, вечерней заводи, дремали, спали и в снах, отображающих ту же дневную оторопь и ту же вечернюю жуть, ворочались на своих постелях и тюфяках красно-селимские ополченцы второго разряда, нетрудовые единицы, отсталые кооператоры, управделы, председатели домовых комитетов, попы, лавочники без лавок, бывшие коллежские, титулярные, спецы, счетоводы, матери кормящие, матери не кормящие, хозяйки по трудовой книжке, хозяйки-обломки, беглые солдаты и машинистки от ремингтона.

## V

Яшка первый сказал, что надо кукол раздеть и барахло на базаре спустить: вот перед атакой коня не так оседлаешь, артачится, зверюга, а ремень ослабишь — и опять конь конем. Сказал Яшка, что ремень туго затянут, что не пропадать же, когда фураж под руками, — и Лесничий пошел к Соломону за советом.

У Соломона на печурке два утюга жарились, в одной руке у Соломона томик французских стихов — не то Верлен, не то Малармэ, в другой — чайник с водой, словно лейка.

И, воду изредка поливая на утюги, точно сад свой заветный орошая, вслух читал Соломон, в нос пропуская, будто в трубу для прочистки. Шипела вода,

пузырьки вскакивали, шибко, шибко кружась, пахло баней.

— Референдум устрой, — посоветовал Соломон.

— Ты — за? — спросил Лесничий.

Соломон поднял ногу, затем другую.

— Вуй, дважды.

— И Антона спросить? — съежился Лесничий, в бороду вцепившись.

— Трус! — закричал Соломон. — Русская рабья душа. Эгоцентрист, а все-таки перед начальством трепещешь. — И сразу весь чайник опрокинул.

Ошарашенная, жестяно взвизгнула печурка, пар рванулся, Малармэ в пару утонул, а базедовые глаза хитро захихикали — глаза с издевкой, глаза Соломона Бриллера, бывшего кандидата в духовные раввины, в пастыри душ евреек с париками, евреев в длиннополых кафтанах, бывшего меньшевика, бывшего приват-доцента лозаннского университета, сына прославленного цадика из Лиды.

Глаза навывкате — сверлили Талмуд, Бога, зачинателя единого, просверлили, отвергли, покрыли Малининым и Бурениным, русской грамматикой и, протаранив мироздание, уперлись в банки с зародышами. Глаза облупленные — все вылущено, все скорлупки отброшены, — лозаннская кафедра и утюги на печурке, Бергсон и раненый бур, который дышит, сдвинутый с оси, расколотый надвое мир, и вобла, обмененная на бурнус араба, — лейся, лейся вода на утюжки, фыркай, доморощенная печурка тысяча девятьсот девятнадцатого года: все пар, все в пару.

Васенька, вопреки обычаю своему, не ощерился, кнутовищами-руками не замахал, а очень тихо, уж слишком покорно, ответил:

— Продавай.

Развозжаев, на счастье Лесничего, уехал — никто не знает, для чего, куда и когда вернется. Зина Киркова, мучаясь по женской части, только головой мотнула и под шубу уползла опять, чтоб от боли неохватной снова вопросительным знаком по постели ерзать.

А дед, весь в чернильных пятнах, даже на лысине, ручку — пером к себе — в рот сунул и, подумав, велел половину выручки оставить на фонд пропаганды.

Раздевали Збойко и Яшка.

Разоболокли Марию-Антуанетту, помаялись с Рашелью — упорная еврейка не сразу далась — все носом отбояривалась, сняли с бура красноармейские обмотки, тирольку оголили, араба обесчестили.

К самоеду прилип Егорушка — утром прибег Збойко, преподнес заплесневший ржаной сухарь, последний, и лилипуту сказал, что на базар кукол поволокут.

Самоеда взять — Егорушку доконать; в году для лилипута, как и для всех прочих, те же 365 дней, и на тридцать седьмом лилипутском году так же страшно лишиться последнего, как любому двухаршинному, а где Маргариту найдешь, как найти ее, как по снежным перебродищам, не затонув, добраться, как разыскать ее, не запутавшись в белых незнакомых разулочьях. Самоеда взять — Егорушку в порошок стереть. И — сюртучок на все пуговицы, а шея, шея вихляется в просторном воротнике, тюфячок скатан,

ручонки стиснуты в гневливой решимости — грядите, рудо-желтые аспиды, волосатые черти!

Но про самоеда забыли, а может быть, человек-кости-да-кожа по-человечески усовестился и не напомнил.

И телогрейка самоедская осталась, молью попорченная, и колчан тоже — пустой. Всех раздели.

Тиролька ахнула: «O mein Gott!» — и румянцем немецким зарделась, араб отвернулся и копьё на два дюйма в пол вогнал, бешеный араб с коробки «Покупайте гильзы Катыка», Рашель презрительно повела носом в сторону наглой галерки, а Мария-Антуанетта хватилась было за голову, но вовремя вспомнила, что головы давным-давно нет, и уронила точеные руки, бур вздохнул и по-солдатски завалился спать.

Брест-Литовск горел по-прежнему, на Аркольском мосту прядал конь под корсиканцем.

Серафимин мальчишка, Шурка, с ножкой в лубке, тихонечко канючил и просил сказок, Серафима прислушивалась к каждому шороху: не идет ли Антон.

Эх, как завивается в вольной степи вольный ковыль! В трубе воеет проклятый красно-селимский зимний ветер, два коршуна — две брови — сошлись, сдвинулись над потемневшими глазами: будет час, взметнутся, сорвутся и унесутся прочь — ковыль, ковыль, расступись, прими, укрой. О-ох!..

## VI

На базаре Яшку арестовали: за хищение и продажу национального имущества и предметов военного снабжения, обмотки тож.

На базаре вертелся Цимбалюк, Маргарита рядом с лукошком, а в лукошке полтора пирога и два сахарных квадрата. Тиролькину безрукавку Цимбалюк сразу узнал, и от безрукавки все началось.

Яшка единственной рукой сгреб милиционера, потом другого, третий вдогонку со стрельбой, Яшка зигзагами в бег, по-военному, но под ноги кинулась Маргарита, под ноги, всклекотывая, под ноги — за зеркала, за монеты, за лилипута, за Альфонса Матэ.

И по снегу, по тряпкам, по юбкам, по распластанным штанам покатила живая груда тел, шинелей.

Часа два спустя Лесничий стоял перед Мариусом Петровичем, облачал его в пальто и торопил:

— Дед... Скорее в Совет. Ты старый каторжанин, к тебе с почтением. Скорее... Нехорошо, дед, вышло.

На Большой Болотной, и на Горшечной, и на Малой Болотной заколачивали ставни: бунт на базаре, анархисты власть берут; ратники второго разряда солили собачину, впрок, запасаясь.

С дедом провожатым отправился Васенька — и оба застряли. Лесничий покляпым по комнатам бродил, от кукол шарахался — подвели куклы! — от кукол отплевывался — проклятые, проклятые! А к вечеру застыл комелем у печурки Соломона.

Соломон, по-американски ноги задрав, сидел на кровати и тянул по слогам:

— Па-ноп-ти-кум... Па-ноп-ти-кум... — Толстые негритянские губы посмеивались.

В Чрезвычайной допрашивали Яшку, Цимбалюка и Маргариту; Маргарита Яшку за кушак тянула и всхлипывала:

— Куда моего мальчика дели? На что Егорушку оставили себе?

— Брось, портомойница! — огрызнулся Яшка, свесив голову...

Поздно вечером приехал Развозжаев, — а может быть, и пришел, дорог ведь много: и пеших, и конных, и рельсовых. В полночь привел деда и Васеньку, собственноручно сварил деду кашу из остатков ячневой, помог ему раздеться, а во втором часу ночи окликнул Лесничего и попросил созвать всех на заседание.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

### I

Заседали у деда в комнате, чтоб деда заново не поднимать, в зеркальной — с вогнутыми, кривыми, увеличительными и уменьшительными. Соломон глестой вытянулся, в версту, Лесничий грибком стал, у Зины Кирковой вкось и вкривь поползли щеки, уши, брови, а дед распух, вширь пошел, по зеленой подушке, похожей на стог сена.

И Збойко позвали; скромненько встал у ободверины кожа-да-кости, точно на ремешке удавленник повис.

— Новый? — спросил Антон, по Збойке равнодушно скользнув сухим взглядом, будто по стеклу ножом провел. — Объявляю собрание открытым.

— Виноват, — поднял руку Соломон. — К порядку дня. Не все в сборе. Предлагаю позвать остальных.

— Кого? — не оборачиваясь, спросил Антон.

Приподнимаясь, Соломон облизнул губы:

— Прежде всего малых сих — прежде всего лилипута.

— Какого лилипута?

— Самого обыкновенного двенадцативершкового.

— Откуда он взялся?

— Оттуда, что и мы: из недр. А затем всех кукол, как вполне правомочных и дееспособных членов общества.

— Довольно, — вскочил Васенька и навалился на стол. — Это черт знает что такое.

— Подожди, Вася, — тихо попросил Антон. — Я тебе слова не давал. — И глубоко заглянул в базедовые глаза.

И глаза не отвернулись, только чуть-чуть шевельнулись на миг, чтоб потом снова округлиться и застыть, не то в насмешке, не то в боли.

Лесничий хихикнул.

— Сосна, дубина, бук, — повернулся к нему Соломон, — смеяться нечего, я серьезен как никогда.

Антон встал.

— Я голосую, — спокойно сказал он и на каждого поочередно глянул. — Кто за предложение товарища Соломона?

— Я протестую, — метнулся Васенька. — Мы на краю гибели, а Соломон дурака валяет.

— Товарищ председатель, — протянул Соломон. — Прошу оградить меня от незаслуженных оскорблений. В дни великих потрясений каждый вправе внести любое головокружительное предложение, а я

вношу элементарное, самое обыденное предложение. Я ведь не предлагаю Васеньке взять себе в жены ту куклу, у которой щелка сбоку. Я только...

Васенька сорвался с места:

— Я ухожу!

— Я голосую, — невозмутимо повторил Антон. — Вторично: кто за предложение товарища Соломона? Один голос. Предложение отвергнуто. Заседание продолжается. На очереди: сегодня четверг, в воскресенье к 12 часам ночи приказано очистить помещение. Никаких отсрочек. Занять новое запрещено — не допустят. Якова не выпускают. Не уйдем — нас окружают и заставят. Что мы предпринимаем: уходим или защищаемся? Что делать: взорвать Чека, Якова освободить или в Москву, в разные концы? Я... я привез немного денег, на разезд хватит всем. Итак: мы разъезжаемся или остаемся? Я за второе: Яшку вызволить, здесь засесть и до конца... Дед, слово за тобой. Вася, тише!

## II

Уже спали все, и уже давно успел дед запротоколировать решение группы в назидание и для своего пятитомного труда о «Человеке-центре», когда Антон лилипута разыскивал.

Спичку за спичкой жег, куклу за куклой позади себя оставлял — шаг тяжелый за шагом медлительным — и нашел, за самоедской спиной на тюфячок наткнулся и последнюю спичку — факелок ненадежный — подержал на мгновение над крохотным тельцем.



Тьма — и потонули в ней лилипутские кулачки и другие, узловатые, крепкие, большие, внезапно сжавшиеся, стремительно, точно ухватили долгожданную добычу, ухватили и уже никогда не выпустят.

Тьма — и скрылись в ней личико с блюдечко, сморщенное, осеннее яблоко, и другое — скуластое, напорное, вдруг с налету прорезанное недоброй улыбкой.

Тьма — и темень за окнами и в душе.

### III

На рассвете человек-кожа-да-кости исчез: плоско проскользнул черным ходом, костлявый, пролез в узкую щель, а мог бы сполна дверь распахнуть, и плоским пятном мелькнул по двору.

Утром Лесничий тщетно кликал: ни кожи, ни костей и самовар холодный, в Яшкиной комнате, она же и Збойки, постель не тронута, даже не примял ее за ночь обомлевший скелет, заводной слон мерз у окна, черный Махмутка по слоновой башке молотком не дубасил, дремал, и в дреме морозной мертво сплющивалась по реомюрным делениям тропическая душа — на Яшкино, на безрукое счастье последний из княжеских слонов.

Лесничий ввалился к Соломону.

— Сбежал курьер. Вот тебе и номер.

Соломон высунул из-под одеяла курчавую, в перьях, макушку:

— Правильно. Удирай и ты. Тот по трусости, а ты по-умному.

А немного погодя, когда уже одетым был и у печурки раскаленной пил, обжигаясь, горячую зеленоватую бурду, говорил:

— Уходи, Лесничий. Я тебе серьезно говорю. — И на ладони протягивал Лесничему огрызки леденца, угощая щедро. — Плечи у тебя могучие, сам ты, как дуб столетний. Здесь мелководье. Здесь культурный образ действий — скука: ну, разорвется бомба, ну, вторая. Удирай!

— Куда?

— Идиот! — закричал Соломон. — Много в России лесов?

— Много.

— А начальство над собой ты любишь?

Лесничий ухмыльнулся и крякнул.

— Беги, беги, зверюга. В леса, в дебри — русская зверюга и русские леса. И бабу с собой не бери, упаси боже. Лесные Зинки — малина, здешние — раздавленная смородина. Ах, если бы мне твой рост, твой нос луковицей! Твой истинно русский нос, твоё великолепное курносое национальное украшение!.. За таким носом пойдут без оглядки.

И опять на утюжки опрокинулся чайник, и снова в душном паре потонули базедовые глаза — уже не хихикающие: тоскующие.

— Уходи! Уходи! — И толкал Лесничего к двери. Лесничий, недоумевая, упирался.

— Да что ты ... Да что ты ... — смущенно бормотал он, конфузливо, а уже плечами поводил — грудь колесом — и уже ноздри ширил, раздувал, точно по тропам запутанным вынюхивал дым костерный и —

сквозь запах смолистый, вековечный — запах людской, краткоденный.

В обед Зина Киркова потребовала вторичного собрания, подав Антону заявление: «Настаиваю, чтоб наше решение было пересмотрено. Сегодня «Красно-Селимские Известия» сообщают, что в Испании крещендо нарастает анархистское движение. Бессмысленно умирать тут, когда мы там нужнее, как активные единицы».

— Никаких собраний! — вопил Васенька, и точно на цирковых ходулях, шагал, трехаршинный, островерхий, по комнатам, сотрясая зеркала, в дрожь кидая оголенных, пришибленных кукол. — Решено так решено. Мы сражаемся, мы не сдаем позиций. Стыдно на попятный.

— Я обожаю испанок, — сказал Соломон. — На собрание! На собрание!

У себя в комнате Лесничий ладил дорожный мешок — побегут, завьются, помчатся, понесутся зеленые дорожки, зашумит, закачается, загудит чащоба лесная — мать родная, мать ничья и всех.

— Кто идет?

— Лесничий.

— Пароль?

— Вольница.

— Проходи! — Коня водком, лесом да лесом, шалы гой по коню «айда!», не конь, а суцая шишига, пена, храп — и полем, и степью, все напрямик да напрямик — птицей, вольной волей, волей неизбывной.

Из рук выпала на полстежке толстая игла: Лесничий загляделся, улыбаясь, а улыбка в бороде, точно луч ранний в хвойной гуще.

#### IV

Днем дважды Антон навестил лилипута.

В первый раз молча постоял перед ним, только оглядел его пытливо, точно мерку снимал; лилипут одернул сюртучок, дрожали ножки в крохотных брючках; а во второй — принес поесть.

Егорушка насупился и отвел тарелку.

— Ешь, — предложил Антон и взял его за плечо.

Лилипут дернулся и повалился на тюфячок; стариковский, под реденькими волосами, бледно-розовый затылок, шевелясь, замирал постепенно.

Антон нагнулся:

— Что ты? Не бойся — И на колени встал. — Я не медведь. Как тебя зовут?

С тюфячка балаганным Петрушкой пискнуло:

— Егор.

— А сколько тебе лет?

— Тридцать семь.

Антон вскочил и захохотал.

Долго смеялся, очень долго, но глаза не смеялись, да и морщина тугая со шрама не сползала, а Егорушка все глубже и глубже зарывался в тюфячок; будь Маргарита тут — на руки взяла б, к правому сердцу прижав, унесла бы любовно, грея, от страшного смеха, безбожного, а самоед торчит чучелом и

не помогает хотя и лилипутскому, но все же живому, растревоженному сердцу.

И тискал, тискал тюфячок — кулачками, кулачками посиневшими...

Не постучав, Антон вошел к Серафиме. Гудел примус, Шурка спал, больная нога лежала высоко на подушке.

И над Шуркой постоял Антон и тоже оглядел его сверху донизу, пытливо, как вот только что лилипута.

— Потуши примус, — попросил Антон. — Шумит. А я хочу тебе кое-что сказать.

Серафима быстро подошла к примусу и с силой задвигала насосом; натужнее полыхнуло пламя, яростнее загудели сине-огненные слепни.

— Назло? — спросил Антон.

Сдвинулись брови-коршуны — знакомые, ох, до боли знакомые, черные, злые птицы! — и без слов промолвили: не о чем говорить.

— Есть о чем, — сказал Антон и отвернул винтик.

Тихо стало, Шуркино дыхание явственнее, и другое — порывистое, под серым платьем.

— Я тебя отпускаю. В воскресенье вечером лошадей подадут, в десять. Поезд в двенадцать. К одиннадцати будешь уже на вокзале.

— С Шуркой?

— С Шуркой, — ответил Антон и усмехнулся.

Стукнуло о пол: Серафима на коленях не то плакала, не то молилась.

Так и прошла мимо усмешки Антона, не заметив ее, да и как заметить, когда глаза — голубые озера над мертвой зыбью — впервые за долгие дни

всколыхнулись, немеркнувший свет увидев, неизреченный.

И — вой, вой, без устали, треклятый красно-селимский зимний ветер, а все же завьется, завьется шелково серебряно-кудрявый ковыль, расступится, родимый, примет, укроет.

— Рада? — спросил Антон, и голос его дрогнул; на миг, но дрогнул.

И брови-птицы встрепенулись в ответ: хищно откровенно и радостно.

## V

До вечернего заседания не дошло, и первоначальное решение отпало: завечерело, когда Лесничий ушел из коммуны.

В зеркальной он поклонился на все четыре стороны, точно странник родным могилам перед дорогой богомольной и длинной, облобызал Соломона, буркнув: «Спасибочко» — и поминай как звали; кудластую голову, ноги как корневищи, и плечи как оглобли — прими, эрэсэфэсэровский, по-старому неукротимый «большак», нового путника!

А минут десять спустя возле тирольки, взвизгнув, повалились на кровать очки, цветные сапожки; мерлушечья шапка откатилась — за очками бежали ручки соленые; сафьяновые сапожки носками отбивали дробь.

Тиролька шевельнула ресницами, хотела сочувственно, впервые не заманивая, подмигнуть и не смогла: сбоку в щелке торчал окурочок папиросный — единственный след Лесничего.

Поздно вечером Зина Киркова сняла свое предложение об Испании, оделась, в город направилась.

Поутру прикатили сани с медвежьей полостью, оленья доха с портфелем сидела в санях, поджидая: Зина Киркова собирала пожитки.

Соломон подошел к окну, в морозном замысловатом узоре просверлил дырку и сказал Васеньке:

— Народный комиссариат продовольствия. Зинка растолстеет.

— Что делать? — спросил Васенька.

— По Чернышевскому — открыть швейную мастерскую. Но он устарел. По-моему — намылить веревку. Твоя мыловаренная ячейка...

— Ты все шутишь, — уныло проговорил Васенька и побрел невесело от окна; сразу короче стал, точно подломились ходули.

Но умели базедовые глаза и ласковыми быть: догнал Соломон Васеньку.

— Глупый ты, глупый ты, Васюк. Вместе уйдем. Я не оставлю тебя, потому что люблю я тебя, Васенька, потому что ты, как галчонок, на все рот раскрываешь. Ничего, Василий, другой Паноптикум найдем, мир клином не сошелся. И станем мы с тобой от одного Паноптикума к другому переходить. Учиться будем — *studeamus garoticum humanum*. Ты был в Туркестане? Никогда? Я тоже. Едем туда: восточная сартско-бухарская группа анархистов-эгоцентристов, с востока свет. Веселей, Васюк!

И снова ожили ходули: мигом починили их.

Зашагают ходули, не могут не шагать, пока вертится земля вокруг солнца и кажет жадному челове-

ческому взору, ненасытному, то стальную сеть новых рельсов, то дерзновенные горные тропы, то морские разгульные бескрайные дали.

А дед сидел перед уменьшительным зеркалом и все писал и писал.

В зеркале тот же дед, но крохотный, и те же листки, но малюсенькие — квадратики бумажные для детской игры, — но скрипит, скрипит перо, и будет, будет человек во вселенной единым владыкой, богом будет.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

### I

В субботу, вечерним часом, Антон повел лилипута в комнату Зины Кирковой.

За стеной Серафимин угол — слушал Егорушка, как рядом мальчик плачет и жалуется, что ножка болит. Один остался самоед, на холоде; покрепче обмотался шкурой, колчан поправил и с горя затянул песню — свою самоедскую — про тундру.

Антон затопил печку, отогрелся Егорушка; печь не то что мех самоедский, молю проеденный; хорошо и тепло спать на широкой Зининой постели, но когда тревожно перебоями стучит сердце, даже и лилипут не спит.

А высокий, хозяин новый, не уходит: сидит перед печуркой, на огонь глядит и все усмехается.

Видит Егорушка сквозь переплет спинки железной, что усмехается: от щепок пылающих бьет в лицо



блеснь переменчивая, кругом темно, а лицо на свету, и на лице усмешка.

— Спи, — говорит хозяин, — а я посижу немного. — Хорошо говорит, почти как говорила Маргарита, а усмешка не исчезает.

Так час, другой: лицо освещенное, усмешка, углы в темени, окна запушенные, сизые, щепки трещат.

— Почему не спишь? — спрашивает хозяин. — Спать надо. Завтра в дорогу.

Так другой, третий час: огонь на лице, лицо застывшее, треск щепочный, мальчик за стеной спросонья плачет, а впереди какая-то дорога, неведомая, откуда-то вдруг взявшаяся... Господи боже... с кем это, не с ним ли, скуластым, куда это? Скособочилась головка, бьется пробор взъерошенный о прутья, плачет лилипутское горе.

И — в слезах — жгли они, как жгут и больших, в ком рост человеческий, а не для показа за деньги, — и, разомлев от давно неизведанного тепла, робкой трепещущей дреме — вот-вот всколыхнется она и убежит от покорных ресниц — все же подставляет Егорушка свое измученное тело.

А проснулся: мрак, тишина, ни хозяина, ни огня, ни усмешки — лилипутский страшный сон.

## II

И страшная бесконечная ночь для Антона, пытка неукротимой души, извод — все в эту ночь вместе: куклы, бомбы, лилипуты, Шурка-мальчик, зачатый в сумасшедшую ночь на берегу Кубани, черные бро-

ви и черная любовь — велика ли твоя возлюбленная? В уровень моего сердца, а оказалось — едва по пояс.

Все одним клубком: Яшка Безрукий, каша для деда, человек-бог, человек-труха, зеркала кривые, рожи кривые, барахло на базаре, снег красно-селимский, Кремль московский — орех нераскалываемый, рукопись деда — завет новейший, третий, евангелие от Мариуса, апостола в клетчатых кальсонах, и опять лилипут и снова коршуны-брови, — как в темноте путаной, кромешной тонкую ниточку найти, клубок размотать?

Долга ночь, как скорбь, ночью шаги гулки, старые половицы кряхтят и жалуются обидчиво: не дают им покоя нелепые неугомонные человеческие ноги.

И радуются куклы человеческой казни: учащенно бур дышит и нутром фыркает, Рашель, забыв про оголенность, трагически хохочет, араб копьём крутит.

И зеркала вздрагивают — деда будит Антон. И дед и Антон смутно отражаются, еле-еле.

— Дед, так ты говоришь, что нельзя так? Ведь все позволено свободному. Ты сам учил.

Дед к подбородку притянул рубашку, точно женщина, застигнутая неодетой, и сказал ночным — с трещиной — тихим голосом:

— Не этому учил...

А потом в потемках шарил, ловил руку Антона: «Антон!» — тугожилную руку, на которую все надежды возлагал, твердую, как насадка стального

кинжала, предназначенную на гибель мировой машины.

А рука не давалась — упорная рука.

— Никто надо мной не усидел: ни Бог, ни царь, ни рабочий... Сам я себе власть: ни рабочая, ни крестьянская, ни дворянская — развозжаевская. А Серафима цепко держала... Отыграться хочу.

— Антон!.. — Но ускользала рука.

— Дед, мстить хочется. Развеселое дело — месть. Как люблю без оглядки... — люблю, люблю, дед, — так и мстить хочется, не оглядываясь. Развернет в вагоне одеяло — Шурку вынуть в тепле, после саней, а там лилипут... Сморщенный, лысый, руки паучьи. Хо-хо!

Задрезжали зеркала — тускло блестели, тускло задрезжали.

— Дед... Потом с тобой, с Шуркой... Потом, куда хочешь — Далай-Ламе бороду выщипать. Лондон взорвать...

И перегнулся дед пополам, преодолел сахалинские рубцы:

— Отдай ей Шурку, бтдай!

И поймал дед руку и прижался к ней горькими старческими губами.

— Отдай! — И, ослабнув, подалась задрожавшая рука.

Рассвет...

Скользит рассвет по зеркалам, снимает с них ночные завесы, а под завесами, на подушке зеленой, что пухнет стогом сена, две головы огромные — прижавшись вплотную: одна лысая, другая русая.

### III

Соломон и Васенька шли городом к станции — белый город, все белым-бело.

Снег слепил базедовые безнадежно усталые глаза, рьяно кромсал снег длинноногий Васенька — смеялась над сугробами горячая красная кровь.

### IV

Пока сани не затарахтели у подъезда, дед не уходил от Антона.

И дед же, хоть и тяжело было, сам понес к саням закутанного Шурку.

— Прощай, Антон, — сказала Серафима и, быстро нагнувшись, схватив руку Антона, поцеловала и запнулась о порог: два поцелуя за день — слишком много! — с криком отшатнулась русая голова.

Немного погодя вторые сани подкатили.

Дед торопливо убирал со стола рукописи, тетрадки, старые газеты и шамкал:

— С сундучком-то, с сундучком-то как?

— Не беспокойся, дед, — говорил Антон. — Все заберем. И лилипута тоже.

— Какого? — спрашивал дед, но тут же, спохватившись, бормотал: — Бери, бери, все пригодится.

Суетился дед, Антон из Зининой комнаты вел к саням Егорушку, Егорушка, в коленках переламываясь, тянул за собой корзиночку — галстучки свои цветные, манжеты.

— Подожди, дед! — крикнул Антон. — Чуть не забыл. — И обратно в подъезд кинулся

Куклу за куклой тащил Антон, приплющивал к стеклам одну за другой и на ходу выключателями действовал — побежали по снегу, рассыпались огни, тормоша красно-селимскую темень, сонную зимнюю заводь.

Сани тронулись.

Стоя в санях лицом окаменевшим к Паноптикуму, отъезжал Антон. Лилипут всхлипывал, дед уже дремал.

В двенадцатом часу из ворот Чрезвычайной двинулась пятерка шинелей: впереди мохнатая бурка бурчала:

— Тышэ!

Как в незабвенное для Цимбалюка время, дни гала-экстренных программ, переливались все лампочки Паноптикума: романтические — розовые, драматические — зеленые и фиолетовые — эффектные.

В окнах, торчком, в ночь вперив мертвые глаза, Рашель, тиролька, араб и безголовая Мария-Антуанетта поджидали гостей. ♣

Красково — Москва

1921 — 1922.

## ОБЛОМКИ

**У** ПОДНОЖЬЯ базальтовой горы, в саду, где мало цветов, но много фруктовых деревьев, в зелени прячутся четыре двухэтажных домика, с балкончиками, навесами, перильцами, номерками над каждой дверью, с рукописными наставлениями, как обращаться с мебелью, в какие часы требовать кипятку и когда вносить плату.

Днем в саду тихо — все на пляже, только посапывает в плетеном кресле под корявой грушей разбитый параличом бывший вице-губернатор Сувалкской губернии, отчего кажется, что гудит все время неугомонный шмель, гудит и не хочет убраться.

А под вечер вице-губернатора уносят, на балкончиках появляются лампы, калужская помещица покрикивает на горничную, дебелая оперная певица, накинув на плечи длинный шифоновый шарф, разгуливает по дорожкам. И возле всех лестниц загораются мангалки — обыкновенные ведра, но с решеткой посередине: местное изобретение для стряпни.

У каждой мангалки свой хозяин или хозяйка, но у каждой мангалки и душа своя.

Особая, как уверяет лысый поэт в шапке, похожей на монашескую скуфейку, с которой он никогда не расстается, уродливый, как бурятский божок, избиваемый в дни непогоды и обожаемый в часы удачного восхода трав, длинноногий, с зубами, черными от табаку и почти выкрошенными неизменным мундштуком.

Но у поэта чудесные глаза; правда, как будто блуждающие, как будто они на время удаляются и, побродив — где? где? — возвращаются робкими и усталыми, словно еще не преодолели всего виденного.

У поэта тоже своя мангалка, как и у соседа его за стопой, человека неопределенной профессии и звания — Александра Григорьевича Мировича. И такая же мангалка у «светлейшей».

И, как все, «светлейшая», — девушка двадцати четырех — двадцати пяти лет, фамилию которой владелец сада и домов Пататуев произносит с восторгом, почтением и трепетным благоговением, — в сумерки разводит в ней огонь и, белея на свету, ставит кастрюльку, сковородку. И когда шипит масло или бурлит вода, поэт в скуфейке бросает свою мангалку, прячется за перила лестницы и глядит, как из комнаты выходит «светлейшая», как она, стоя над мангалкой, от дыма заслоняется ладонью. И за эту ладонь, за эту руку поэт готов в любой час взобраться на Чертов палец, недоступный и грозный, даже и днем жуткий, и оттуда, с непостижимой высоты, ринуться вниз, в море.

Но не только поэт, — ах, поэту сам бог велел! — но и неопределенная личность, Минович, тоже на многое готов ради этой «белобрысой», как ее называет язвительно четвертый сосед по домику, Лунин, газетчик, репортер, агент страхового общества, прапорщик в бегах и в конечном счете глубоко несчастный человек с одним легким и с пятилетним сыном — Андрюшкòм.

Но Минович не поэт, он скуп на слова, он только быстро-быстро трет свой левый висок, когда «светлейшая» проходит мимо; трет усиленно (точно суконкой какое-нибудь изделие из металла, чтобы оно заблестело, засверкало). По висок попрежнему остается восковым, безжизненным. А «светлейшая» в это время уже удаляется, от ног ее в морском песку остаются впадины.

И когда просачивается вода, и там, где отпечатлелся каблучок, сразу зарождается новая жизнь, Минович грудью ложится на берег, перебирает ракушки, камушки, засохшие пучки морских трав. И все ищет и ищет — камень особенный, многоцветный, до сих пор не виданный и еще никем не найденный.

И даже Лунин, хотя все время возится с легким — одним, другого уже нет — и Андрюшкòм, и хотя твердит, что в белобрысой ничего нет, кроме громкого имени, тоже не раз ловит себя на мысли о том, как прекрасно и как изумительно было бы услышать от этой девушки коротенькое, простое, но такое очаровательное слово «милый», и, услышав, пойти за ней.



Куда? — все равно, но подальше от мангалок, от зеленой плевательницы в кармане, от разбухшего вице-губернатора. И даже от моря, что шумит днем и ночью, но и днем и ночью чужое.

Чужое, — потому что есть берега другие, желанные, а к ним не пробраться, потому что есть уголок на далеком севере, куда путь преградили взорванные мосты, вывороченные рельсы, поля, переплетенные колючей проволокой, пушки, пылающие деревни, броневики и люди, люди, люди: одни с одними знаменами, другие с другими, но и те и эти мокнувшие под дождем, но и те и другие несущие смерть.

Вице-губернатор знает, что в этом теплом краю, где кудрявый виноград цепко ухватился за землю и солнцем пьян, где розовый миндаль в цвету похож на сон, навеянный чтением сказок Шехеразады, ему придется окончить дни свои.

Но он терпеливо принимает неизбежный удел: Сувалкской губернии не существует, в вице-губернаторской квартире, нет сомнения, живет какой-нибудь проходимец; партнеры по преферансу разбрелись по свету божьему,\* и где их теперь найдешь, а начальник контрольной палаты еще в прошлом году где-то в Твери или Коломне умер от тифа, — и вице-губернатор аккуратно пьет свое молоко, еще теплое, еще пахнущее выменем, и сопит, не от огорчения и боли, а только потому, что он отучнел, и что все труднее и труднее ему дышать.

Андрюшку все любо: и море, и раковины, и ястреба над Чертовым пальцем, и татарки с монетами в мелких косичках, и одноглазая камбала. И не муд-

рено, что он наливаётся, как колос, смуглеет, как цыган, и, как татарчата, не знает он тесноты штанишек и неудобства рубашек.

«Светлейшая» дружит с Андрюшкòм.

Андрюшòк «светлейшей» приносит медуз, морских коньков; «светлейшая» уже давно мечтает порадовать Андрюшкà паровозом или шумливым аэропланом. Но у «светлейшей», хотя около постели и висит золотая в плетении сумочка, денег мало, и все чаще и чаще болгарин Бастичев, лавочник из села, уносит к себе то колечко, то пару лайковых перчаток, то шелковую кружевную рубашку.

А поэт обо всем этом знает.

Быть может, мангалка «светлейшей» ему все рассказывает: поэт верит, что мангалки знают все хозяйские тайны и могут о многом поведать.

И не потому ли иногда вечером поэт тихонько ставит свою мангалку на место мангалки «светлейшей», а чужую уносит к себе, греет на ней местное красное вино, очень дешёвое, но крепкое, прибавляя к нему корицы, кладя мускатный орех, запах которого напоминает ему Индию, — и слушает, слушает, как верещит мангалка.

А когда мангалка отмирает, и огненные ее язычки перестают облизываться, поэт пьёт горячее вино, снимает скуфейку и напевно читает (о нет, не свои стихи, их он прочтёт только одной ей, единственной, когда она придет, взглянет, заманит, заморозит):

Нет, не люблю я за кубком слушать шумные речи  
О кровавой войне и раздорах.

Кто Афродиту, Эроту и Муз прославляет за пиром —  
Тот приятен в своих разговорах.

А после четвертого, пятого стакана он прощается со старым приятелем Анакреоном и русским стуком стучит в стенку соседу — Мировичу — и зовет его к себе провести час — другой по-русски: выпить и поплакать. И, сорвав с себя венок, сплетенный утром в горах из вереска, натягивает скуфейку до ушей и пьет, пьет сосредоточенно восьмой, десятый стакан, и уже нет ни Индии, ни Греции, не качается палатка на просторной спине философа-слона, не прыгает в оливковой роще растрепанный фавн, не шелестят опахала из павлиньих перьев, а тянется мокрая проселочная дорога, стынут березки в предвечернем зыбком тумане, и за пряслом дымит избенка горьким и тоненьким дымком.

— Мирович, у вас удивительная фамилия. Так хорошо сказать вам: Мирович, выпьем. Или: Мирович, айда.

— Куда? — спрашивает Мирович, ставит свой стакан на стол и прищуривается в уровень стакана. Глаза у него продолговатые, и постоянно на лице его тень от ресниц, точно от какой-то злой птицы, всегда над ним парящей, как кружится неизменно птица-орел над завоевателем, победителем и удачником. Прищуривается так, как будто в красной жидкости пытается разглядеть, куда какие дороги побежали.

Мирович скуп на слова, а может быть, скуп и на другое: он плохо одет, питается скудно и говорит он нехотя:

— Некуда! Сидите...

Вино все выпито. За окном шумят тополя, в высь стремящиеся в бессмертной красоте, о такой же красоте, неумирающей и вечной, твердит море, волну за

волной посылая к берегу, точно вестников в серебряной броне о победе, а поэт длинноногий, подобный бурятскому божку, грезит об единственной и не в силах спрятать свою тоску по ней — близкой, вот тут живущей рядом, «светлейшей», и — такой далекой.

— Мирович, у вас поразительная фамилия. Так хорошо сказать вам: Мирович, повесимся.

— Я еще жить хочу, — цедит сквозь зубы Мирович слова и последние капли вина. — Хочу! — и вдруг стучит кулаком по столу.

И это так неожиданно, так непохоже на него: он всегда ровен и спокоен, редко повышает голос, а тут кричит, и так громко, что «светлейшая» может проснуться.

— И буду жить. Хоть с чертом, с дьяволом, но я уйду отсюда. Опротивела мне эта бирюза. Тошно от олеографии. Вечно перед глазами. Какая-то сплошная выставка глупо намалеванных пейзажей. Не хочу! С дьяволом, но отсюда.

— А где найти его? — робко спрашивает поэт и покусывает ногти: скверная привычка, поэт это знает, но до крови обдирает ногти, как всегда в минуты непоборимой и лютой тоски. — Дьявол! Черт! Они тоже разбежались. Забыли о нашем существовании. Хоть бы один... Черт!..

И, прикрыв глаза исковерканными пальцами, видит поэт раздвоенное копыто, насмешливые губы над узкой, длинной бородкой, сухощавую руку с карбункулом на темном мизинце.

А подняв глаза, уже не находит Мировича: тот ушел незаметно, как всегда.

Куда? — быть может, под окно «светлейшей» или к подножию Чертова пальца.

«Мирович, давай повесимся», — и улыбается поэт, и смеется над собой, над лысиной своей, над тетрадкой своих стихов о приходе единственной и о глухих переулках недоступной, желанной Москвы.

Улыбается, смеется, потому что уже светает, уже отошел хмель, но и плачет — плачет над теми же стихами, над той же лысиной.

Все ближе и ближе заря — и вот потух синий огонек в деревянной вышке напротив, в маленьком цветном оконце приземистой дачи, где живет звездочет — странный человек четырехугольного сложения и низкого роста, с бородой цвета шафрана и тройной фамилией Бурейша-Домгайло-Кричинский, бодрствующий по ночам, от солнечного света убегающий за гардины, портьеры и ставни, владелец полуразрушенного дома, выжженного виноградника и небольшого телескопа.

Когда в синем оконце гаснет огонек — значит, рассвет придвинулся, значит, сейчас солнце всплывет.

«Светлейшая» знает это: не впервые ей отходить от своего окна вместе с синим огоньком.

И, присев на край несмятой постели, говорит себе «светлейшая»:

— Вот еще день прошел. Боже, научи меня все, все забыть!..

Номера у Пататуева не пустуют, есть даже и кандидаты, очереди своей ожидающие в ближайшем городке, где много солдат, пыли, караимов, где на ули-

цах постоянные сборы то в пользу раненых, то на воздушный флот, то на агитационную газету. Кандидаты рвутся к морю, к виноградникам, а Пататуев рад, и нет сомнения, что, отходя ко сну, молит господа бога не вмешиваться в людские распри.

Оперная певица обожает шашлу и верит, что от шашлы похудеет, и зимой, когда, наконец, можно будет вернуться в Киев, шашла позволит ей играть и умирающую Травиату, и легко скользящую Лакмэ. Вице-губернатор в восторге от болгарской молочницы и видит в этом достойное вознаграждение за все то, что некогда Россия сделала для Болгарии. Крупный железнодорожный чиновник в белоснежном кителе сверкает посеребрёнными орлами пуговиц и о взорванных мостах не беспокоится, и не сомневается, что в назначенный и нужный час быстро поднимутся со дна речного грузные быки, и перекинутся сквозные железные арки, почтительно прокладывая дорогу действительному статскому. Харьковская медичка на пляже окончательно развязалась со своею бледной немочью и даже иногда пудрится.

И только три человека не знают, как уйти от пататуевских клумб, киммерийских скал, татарок и даже от моря.

И трое, когда заговаривают об отъезде, не могут не подумать о «светлейшей»: а что будет с нею?

Но «светлейшая» об этом не знает, а если даже и догадывается, то молчит и, только глядя Андриушка, улыбается изредка Лунину, порой поэту и уже чаще Миновичу — и лишь тогда понимают все трое, что во всем саду, а может быть, и во всем мире, они трое

для «светлейшей» живые, будто даже и близкие, а все остальные — тени, и разве тень может задеть, огорчить или порадовать?

Что ей тени, когда даже и живые, вот эти самые «будто даже и близкие», ни разу не смогли ее заставить рассмеяться, заплакать, выйти в сад лишней раз, сказать лишнее слово, пройти чуть дальше, оглянуться с пути, небрежнее или мягче накинуть платок, протянуть руку. А ведь у поэта под скуфеей складываются очаровательные строфы о ней, простые и мудрые. А ведь у Лунина, хотя и одно легкое, сердце преданное и верное, а скарамуш-Мирович, человек-прохожий, без роду и племени, от тетки родившийся, как он однажды сказал поэту, ведь найдет единственный камень и даст его «светлейшей», разыщет если не на берегу, то там, где над лихими провалами спорит с орлами и ветрами острый, упорный и беспощадный Чертов палец...

Да, да, нет сомнения: все мангалки болтливы. Иначе — как могла бы знать «светлейшая» о песнях поэта, о смешном сердце Лунина и о том, что человек-прохожий вдруг круто остановился, замер, словно перед ним все дороги свернулись замысловатым клубком?

Утром «светлейшая» думает о Луinine, днем о поэте? а вечером о Мировиче, но о старом, о прежнем все же забыть не может и напрасно по ночам молит бога, обращается к разуму, упрощает сердце и взывает к рукам: бог недоступен, разум на веки запомнил кривой оскал мертвого рта и окровавленный ус, сердце затаило до конца дней смертельный

крик у калитки, а руки никогда, никогда не сотрут холода любимого лица.

«Светлейшая» купается вдали от всех; оперная певица убеждена, что у «светлейшей» или колени вогнуты, или грудь плоска, недаром она всегда в платьях одного и того же покроя, недаром в самую сильную жару вырез на груди не увеличивается. И обедает она тоже отдельно, а это, уверяет певица, очень смешно, и харьковская медичка соглашается с ней: быть титулованной — и возиться с мангалкой.

И еще заметила певица, что на «светлейшей» нет никаких украшений, даже колец, даже самого завалющего медальончика, и, играя своими кольцами — подарками за игру и еще кое за что, — певица говорит, что «светлейшая» или авантюристка, или же, по некоторым причинам, ясным, ясным, живет под чужой фамилией. Но действительный статский, хотя «светлейшая» упорно избегает его, честно приводит доказательство за доказательством и даже ссылается на петербургскую выставку, где он видел портрет «светлейшей» работы Серова.

Когда появляются первые персики, ароматные и целомудренные, как детский пушок на округлости щек, поэт покупает корзинку и в сумерки осторожно ставит ее у дверей «светлейшей». Поутру «светлейшая» благодарит его, и как хорошо, как пахуче отдается в душе поэта это простое, несложное «спасибо».

Знает ли «светлейшая», что в одно это маленькое слово поэт погружает целые миры и миры, как персики опилками, пересыпает песнями? — утром



«светлейшая» думает о Лунине, днем о поэте, а вечером о Мировиче.

Звездочет Бурейша-Домгайло-Кричинский зажигает свою лампу, синий огонек кивает «светлейшей».

Вечер располагается на ночь.

Слева от селения низкие холмы, всегда улыбочивые, тают в фиолетовых прядях, а справа растет, набухает громада голых скал, и неуклонно грозит небу, морю, людям Чертов палец с загнутым ногтем.

«Светлейшая» от сада идет вправо: даже по утрам не тянет ее к себе светлая извилистая гряда изумрудных ковров, даже днем Чертов палец манит к себе, — и с ним, на его стороне, возле него «светлейшей» лучше, как часто легче остаться наедине с угрюмым и молчаливым человеком, чем с жизнерадостным и разговорчивым.

Четырехугольный звездочет лезет на вышку, скрипят старенькие ступени, одноглазый телескоп кружится вокруг своей оси, глубоко впивается в небо, ищет и находит светлоокою Вегу, а над бородой цвета шафрана бродит лихорадочная улыбка — улыбка фантазера, маниака и любовника без измен.

В августовскую звездную ночь, на первом выступе Чертова пальца, на том самом месте, где однажды нашли молодую искалеченную татарку, «светлейшая» встречается с Мировичем. Тропинка узка, и немудрено, что «светлейшая» должна взять руку Мировича, и нет ничего странного в том, что, дойдя до поворота, «светлейшая» спрашивает Мировича, пробовал ли он взобраться на верхушку Чертова пальца, как и

не странно, что они долго, долго сидят потом вместе, оба молчат, оба прислушиваются, как море зовет, как изредка, скатываясь вниз, грохочут камни и Эхо вторит им многозвучно. И оба сразу встают и так же молча идут к дому; еще горит синий огонек звездочета: значит, ночь еще не кончилась, значит, спят еще все — и люди, и рыбы, и птицы.

Потом встреча вторая, снова невольная, за нею третья, опять случайная, а уже четвертая — преднамеренная. Но и при шестой встрече, и при седьмой все молчит «светлейшая», только изредка говорит об Андрюшке, о крике орлином, вдруг послышавшемся, только изредка просит Мировича рассказать о людях, о землях.

И напрасно поэт, грея вино, допытывается у Мировича: тот ничем не может поделиться.

— Почему она очутилась здесь? Откуда она: из Москвы, из Петербурга?

Мирович молчит.

— А где ее родина? Уехать собирается?

Мирович все пьет, пьет и не отвечает.

— Мирович... — срывается поэт. — У вас гнуснейшая фамилия... Так удобно сказать вам: Мирович, вы... вы...

А минуты две спустя Мирович гладит скуфейку, подталкивает поэта к постели и говорит отрывисто, но мягко:

— Чудак... я ничего не знаю... Вы больше моего знаете: вы в мангалку верите. И не надо знать. Так лучше. И мне, и вам. Бросьте, успокойтесь. Надо удирать отсюда. Хоть с дья...

— Дайте мне маленького чертика, и я забуду о «светлейшей»! — задыхаясь, кричит поэт и в цветную подушку прячет жадные, пересохшие, вожделеющие губы.

А утром в саду Пататуева появляется новый жилец, внезапно, точно с горы свалился, не приехавший в экипаже, но, повидимому, и пешком не пришедший: на нем ни пылинки, узкие лакированные туфли без единого пятнышка, продольная складка на брюках словно только что из-под утюга, перчатки без морщин, и белый тугой пластрон рубашки безупречно свеж. Комнату он получает вне очереди, хотя оставлена она для екатеринославского богача, в обед ему первому подносят, цветок для петлицы он срывает на глазах самого Пататуева, о чем никто из старых жильцов и мечтать не смеет.

А к ужину он уже знаком со всеми: с вице-губернатором он находит общих знакомых, певице напоминает о ее дебюте у Зимина, а поэту расхваливает его первую книжку стихов и даже два — три стихотворения знает наизусть.

К вечеру вокруг него собираются все жильцы, и, не выпуская сигары изо рта, он рассказывает, как пробрался сюда, минуя пикеты, конную разведку, как с двумя переодетыми офицерами на изувеченном паровозе пересекал линию фронта, а сигара, хотя он курит беспрестанно, не уменьшается, и золотой ее поясок не обугливается.

Гость брит, худощав, похож на картинку с коробки папирос «Джентльменские», приятен лицом, и странно только, что волосы у него, как у женщины,

начесаны на уши. Ушей не видать, и потому кажется, что высокий крахмальный воротник прямо упирается в голову. Он смугл, глаза у него зеленые, сухие, без блеска, но вдруг порой расцветчиваются, точно за зрачком загораются разноцветные огни и рассыпаются точками по белку — и тогда все его лицо меняется: губы в углах рта приподнимаются, подбородок суживается и внизу загибается крючком, брови дыбятся, кончик длинного и заостренного языка беспрестанно пробегает от верхней губы к нижней, и кажется, что вот-вот этот человек вскочит, гибкими руками закружит всех: в бешеной пляске, опрокинет садовые скамейки, деревья и захохочет, как филин, неживым хохотом.

Ночью как-то само собой получается, что он вместе с поэтом и Мировичем пьет вино, и хотя поэт ни словом не обмолвился о «светлейшей», он заговаривает о ней, называет ее по имени-отчеству и говорит, что на свете нет ничего лучше породистой крови.

— Она пьянит, как шампанское, а плебейская кровь, как пиво: пучит и быстро приедается. В этом, милые друзья, вся философия истории, весь смысл и вся суть общественных пертурбаций. Можно опрокинуть одних и вознести новых, можно взамен трона поставить клеенчатый диван для демократических царьков, но кровь не заменишь. Идеи появляются, распыляются, одни уходят, другие выскакивают, как прыщи, но не исчезает и не исчезнет разница крови.

— А вы любите кровь? — вдруг в упор спрашивает Мирович, все время молчавший, как обломок

скалы у мыса. — Любите? — и силится поднять почему-то сегодня непомерно тяжелую голову.

— Чью? — улыбаясь, отвечает гость — господин Треч, Виктор Юрьевич, сюда заехавший на несколько дней для отдыха перед серьезным, как он недавно намекнул, и важным поручением за границу.

— Человечью, — грубо говорит Минович, отбрасывает стул и, пошатываясь, идет к двери.

С порога оборачивается, что-то хочет сказать, но видит, как гость облизывается, — и, закрыв лицо руками, Минович стремглав бежит с лестницы вниз, в сад, к морю...

Виктор Юрьевич дружески хлопает поэта по коленке:

— А вы еще не готовы, как ваш приятель? Вино крепкое... Еще в здоровой памяти? Чертей не видите? — и смеется добродушно, как в английских романах смеются старые дядюшки-холостяки, приехавшие с чеками к беспутным, но милым племянникам.

В эту ночь «светлейшая» спит крепко, как давно уже не спала.

Спит без сновидений и дум, и синий огонек в оконце звездочета гаснет без нее: сегодня он подмигнул господину Тречу — Треч бодрствует, сидит под окном «светлейшей», курит бесконечную, неуменьшающуюся сигару и шевелит под гладко начесанными прядями волосатыми, плоскими, серыми ушами.

Утром «светлейшая» впервые чувствует себя не уставшей. Впервые легко ни о чем не думать и, стоя перед зеркалом, не трудно заплетать тугую косу и не постыло завтракать на балконе, когда так ослепи-

тельно яркие солнечные блики на клумбах и пена кружевная у берега и латинский парус на далеком горизонте, а внизу, в конце лестницы, вдруг гаснет мангалка, хотя безветренно, как в оранжерее. И сколько ни старается «светлейшая», щепки не горят; «светлейшая» в смущении. Но вдруг открывает окно Треч, Виктор Юрьевич, — комната его на нижнем этаже, как раз под комнатой «светлейшей»; он непринужденно и мило предлагает помочь, шутя просит в награду чашку кофе и за завтраком беседу незаметно переводит на французский язык; прононс у него великолепный. Треч очень корректен, ненавязчив и недолго сидит, а когда он уходит, «светлейшей» хочется заломить руки в острой тревоге.

На следующий день совместный завтрак повторяется: опять не горит мангалка и неподатливы щепки.

В этот день часами стынет обед «светлейшей», не дождавшись ее.

А из окна поэт глядит, как по тропинке удаляются в горы две фигуры, два пятна — белое и черное: маркизет «светлейшей» и визитка Треча.

— Пойти за ними? — мечется поэт от окна к двери. — Подслушать, догадаться?.. Понять, как он мог так быстро?.. С ним она уходит в горы... Я бы на коленях пополз... Пойти? — и в неурочный час стучит Мировичу и просит послать за вином к болгарам, обещает вернуть деньги завтра, послезавтра, требует вина, много вина, бочонками чтобы залить весь сад, утопить все селение, — и молит, молит Мировича:

— Скажите же мне, кто он? Скажите, почему «светлейшая» пошла с ним?

Лунин входит, кашляет, не отворачиваясь, — уже перестал стесняться, — отплевывает в зеленую с притертой пробкой склянку и говорит, что Треч жулик, международный сыщик, что поэт сладострастный павиан и только притворяется монахом, себя называет вредным чахоточным плевком, ругается и находит, что всем им, вкупе с разжиревшими певицами, чиновниками и паралитиками, пора уже перестать гадить шелковый пляж.

— А я кто? Обо мне вы забыли, — усмехается Мирович и краснеет. От румянца, застенчивого, как у юноши, молодеет и хорошеет его усталое, многотрудное лицо.

— Вы? — Лунин машет рукой. — Вы несчастнее всех нас: вы циник с верой в святое чудо.

Мирович идет за вином; идя, согнулся и глядит себе под ноги, точно потерял и ищет любимое заветное кольцо.

Втроем пьют до сумерек, и когда «светлейшая» возвращается к себе, поэт на кровати громко читает чужие стихи, Лунин, пошатываясь, укладывает спать Андрюшка, а Мирович ждет на лестнице и, услышав шаги «светлейшей», решительно направляется к ней:

— Ждать вас сегодня на старом месте?

«Светлейшая» останавливается и вдруг говорит тихо и брезгливо:

— Бог мой, вы пьяны...

Возле внезапно поплывшей куда-то лестницы и стремительно падающего навеса во время появляется Треч, во-время, чтобы подхватить сзади, руку сжать и сказать дружески:

— Придите в себя. Вот так. Еще раз понюхайте. Не бойтесь, я знаю, где ваша комната, и доведу вас с удовольствием. Вообще все, что угодно, сделаю для вас с большим удовольствием. Запомните это. Вы мне весьма нравитесь. Мужчин я люблю таких, как вы, а женщин... Ай-ай, как неосторожно вы заговорили с ней. Выпив, женщину или бьют, или берут, но никогда с нею не разговаривают. На постели или под палкой женщина не чувствует запаха вина: во всех остальных случаях она не прощает. Мы пришли. Позвольте, я вам расстегну воротник. Еще раз понюхайте. Что, хорошо? Лежите, лежите, я не ухажу. Мы будем с вами беседовать о судьбах России. Вам нравится такая тема? Она очень пикантна, не правда ли, особенно теперь, когда кровь дешевле глины? Пожалуйста, нюхайте, не стесняйтесь, это заграничный нашатырь. Или о женщинах поговорим? Хотите, я вам расскажу, как один казак в два часа изнасиловал пять евреек, двух пожилых и трех молоденьких? И когда старшая... Лежите, лежите, я взбиваю подушку...

К звездочету, к кому доступ труден, как к Далай-Ламе, Треч собирается запросто.

— Он в вас запустит подсвечником, — предупреждает Лунин.

— Увидим, — отвечает Треч.

И, возвращаясь от звездочета, говорит:

— Ваш отшельник и мудрец просто большой русский дурак. С землей он ничего общего не желает иметь, только со звездами. Он изволит думать, что наверху лучше, чем внизу. Старый хлам заброшенного



чердака. Наверху или пусто, или еще хуже. Внизу хоть одно ценно: наглядность. Что наверху? Пьют водицу и укрываются облаком. Весело! А он уверен в благости. Катастрофический дурак! Только в России мыслима такая разновидность. Любопытно, на какую звезду он вскочит, когда с моря, ну хотя бы турки, начнут обстреливать его дом?

— Не был он у Домгайлы, брешет! — бормочет Лупин. Но Мирович говорит глухо:

— Был.

А поэту безразлично, был он или не был: ведь все равно и сегодня Треч поведет «светлейшую» в горы.

— Вообще тут изрядное сборище чудаков, — продолжает Треч и обводит всех внимательным взглядом. — Вот вы, потерпевшие крушение. Ведь каждый из вас хоть раз в жизни, но тонул, правда?

— Допустим, — кривится Лунин.

А Мирович шепчет ему сзади, лихорадочно, торопливо, точно в бреду:

— Молчите, молчите!

— Согласны? — радостно подхватывает Треч. — Потерпели крушение? Тонули? Барахтались и видели дно? На вашем месте другой бы навек закаялся пускаться вплавь, а вы... Другой бы все моря, все реки, рельсы и телеги возненавидел до пятого колена. Но на то вы и русские путешественники.

— А вы русский? — тихо спрашивает поэт и почему-то снимает скуфейку.

— Русский, — чуть улыбается Треч — глазами, потому что неизменная сигара во рту и дымитесь без устали. — Но я из новых русских. Морям я предпо-

читаю удобный кабинет, рельсам — кресло или качалку, а многим дорожным спутникам — одну женщину хорошей крови, породистой крови, заметьте. Я во всем люблю приятное. Конечно, и мне приходится бродить, но единственный и неизменный способ продвижения — это...

Треч заботливо поправляет манжеты и запинается на миг.

— ... воздух. Но, к сожалению, он мне недоступен. Поэтому я в редких случаях разрешаю себе прогулки. Меня никуда не тянет. А вы — обломки, вы чудачки. Вам не сидится, какой-то бес вас толкает. Какой, какой? Любопытно, кого же это пандемониум откомандировал в распоряжение русских чудачков. Не завидую ему. Тонули — надо отдохнуть, а вы снова мечтаете о новых катастрофах.

— А кто вам докладывал о наших мечтах? — вновь перебивает Лупин.

И опять, волнуясь, горя, изнывая, шепчет ему Мирович:

— Молчите! Молчите!

— Кто? Никто, — спокойно отвечает Треч и невозмутимо, только брови слегка сошлись, говорит: — Я все знаю, как и все могу.

— Господин Треч!..

Мирович поднимается с дивана, руками упирается в плечи Лунина, точно боится поскользнуться на гладком полу, и дышит жарко и прерывисто.

— Господин Треч... Я научился смеяться над всеми идеями, я презрел всех людей. Мне в Калифорнии было так же скучно, как в Елабуге. Я возненавидел слова,

потому что они еще отвратительнее поступков. Я никому не верю... Но если... вы сейчас, вот при мне... прямо с дороги напрямик взберетесь на Чертов палец, я... я поверю в вас и пойду за вами куда угодно...

— Вы все с ума сошли! — кричит с балкона Лунин, задыхается от кашля и зовет, перегибаясь через перила: — Вернитесь, черт вас возьми. Вернитесь!

А когда сбегает вниз, в сад, и, никого уже не найдя, удрученно бредет куда попало, минут тридцать кружит по дорожкам и, наконец, упирается в какой-то чужой забор — он возле него находит поэта лежащим ничком в траве, и ничего, ничего не может понять в бессвязных и путанных словах поэта. Только одно улавливает, что и «светлейшая» ушла с теми, что позвал ее Треч, а она покорно покинула комнату, дунула на свечку и вышла.

— Как служанка!.. Поднялась: хорошо, иду. Надо разорвать, уничтожить все книги. Лгут книги, стихи. Правду знают только самцы — смуглые, прилизанные куаферы... Нет, нет, «светлейшая» чиста... Я обезумел, но... Луниц, Лунин... что это... что это? Смотрите... Смотрите!

И вцепившись в перекладину крепко, крепко, поэт своей скуфейкой тычет в небо — туда, где на конце Чертова пальца горит и разгорается багровое пламя все увеличивающегося и увеличивающегося костра...

У подножья Чертова пальца Треч, смеясь, говорит Мировичу: «до скорого свидания», «светлейшей» целует руку, а минут пять спустя сверху раздается его голос в темноте отчетливый, как приказ:

— Я на верхушке разложу костер... Глядите вверх! Вещественное доказательство... Без обмана... Остерегайтесь подделок. До свидани-и-и-я...

Скатываются камни, трещат ветки, море стихло и дремлет внизу: огромный, темный студень.

Мирович и «светлейшая» остаются одни. Мирович садится наземь, голова его почти у ног «светлейшей».

И в первый и в последний раз рука «светлейшей» грустно и ласково ложится на пыльные всклокоченные волосы человека-прохожего.

— Светлейшая... светлейшая. Что это с вами?

— Не знаю, — отвечает «светлейшая».

— Вы его любите? — спрашивает сидящий на земле. А та, кто в белом и сидит прямо и недвижно, съеживается и говорит:

— Нет.

— Но вы уйдете с ним?

— Уйду, — безропотно отвечает «светлейшая».

— Почему?

— Потому что... — и, с силой рванув волосы Мировича, «светлейшая» тянет его голову кверху, туда, где победоносно, гордо и страшно вспыхивает огонь. — Видите, горит! Горит, горит огонь. Потому, что... мне нужен костер. Я должна сгореть на костре. Потому, что я когда-то погасила все огни. Потому, что нужна мне боль... Потому, что... я вся дрожу от муки...

Шурша, как морской песок во время прибоя, к ногам Мировича подкатывается куча щебня, перебитая ветка колючего горного шиповника впивается в затылок, и, отскочив в сторону, Мирович попадает в объятия Треча.

— Алло, что с вами? Это я. Я цел и невредим.

А «светлейшая», вздрогнув, начинает смеяться; смеется так, как никогда не смеялась: хихикая.

Светящийся в темноте, как волчий глаз, кончик сигары Треча скачет то влево, то вправо: Минович, схватив Треча за лацканы, трясет его исступленно:

— Вы... черт. Дьявол. Кто вы?..

— Уберите руки, — спокойно-раздельно говорит Треч. — Вы разорвете сюртук, он на шелковой подкладке. Ирина Алексеевна, где вы? Идите к нам, успокойте Миновича. Бедняга за меня разволновался. Он...

А Миновича берет под руку и шепчет ему, надавливая локтем:

— Глупый мальчик... Студентик... Разве черти бывают такие? И какому чорту дело до вас? Мне вы понравились, мне... Тречу — и только. Несмышлennyш... романтик... Разве русский черт аккуратен, как немец, и изящен, как французский бульвардь? Пахнет от меня псиной? Понюхайте, это Аткинсон. Вы любите Пивера? Или Рожэ? Я предпочитаю Аткинсона. Русский черт мелок и неудачлив, а я широк, и мне всегда везет. Мы великолепно дойдем до Константинополя. Ведь вы бродяга, а я вас проведу по всей Европе. А действовать мы будем изумительно. Увидите. Разве черти теперь появляются? В России, когда и так не резберешь, где кончается человек и начинается черт? Когда в каждой деревне свой бес, а в каждом городе свои черти? Глупый, глупый студентик!..

В саду невозмутимая вечерняя тишина.

Огня на Чертовом пальце никто не видел — певица не глядела в небо, инженер действительный статский равнодушен к Млечному Пути, харьковская медичка после сытного ужина не любовалась мечтательно звездами, вице-губернатор спать ложится с последним вздохом дня.

И только поэт и Лупин знают, как зловещ Чертов палец при багряных отсветах высоко-высоко вознесенного огня.

И еще знает поэт, что «светлейшая» стала послушной — боже, как служанка! — Мирович вялым и блеклым, словно прочитанное и смятое письмо, и что завтра, послезавтра они едут в Константинополь вместе с Тречем, в фелюге, ожидающей Треча за Чертовым пальцем в Святой бухте, откуда фелюга стрелой помчится к анатолийским берегам.

— Дикий бред... — выслушав Мировича, кричит поэт. — Вы больны, у вас малярия, тиф... Киммерийские туманы... Очнитесь!

А Мирович упорно твердит:

— Пусть. Мы все несмышлениши, — и сонно валится на диван, со вздохом вытягивая крепкие, привыкшие к ходьбе ноги.

В эту ночь поэт в одиночестве греет вино: Мирович спит, и как ни старается поэт разбудить его, все же не может; спит, прикусив губы, спит, точно на зло себе, спит жестоко, как спят только арестанты перед побегом, смертники накануне казни и матросы после многодневного шторма.

Мангалка горит, но ни о чем не рассказывает: ведь все известно и все неверно.

В клубочек свернулся старенький Анакреон и, как вещь уже ненужная и лишняя, убрался в пыльный уголок к паутине и дохлым мухам. Скуфейка пляшет на свету, чертит черные зигзаги на выбеленной стене и после долгих и замысловатых прыжков бросается к двери, исчезает, точно ко дну идет обессиленная, раз навсегда решившая, что бесполезно противиться, бороться...

Еще спят петухи и сны видят петушины, когда поэт, дрожа от сырости — и разве только от сырости? — приникает к окошку Треча, о холодное, чуть мокрое стекло стучась вдавленным лбом.

— Треч... Треч... вы спите?

За окном ни свечи, ни лампы, только огненный ободок сигары разрезает кисею занавески.

— Нет. Читаю.

Стучит задвижка, дребезжит стекло, прозвенело, и белый пластрон Треча заполняет все окно: ничего нет, только одно огромное, белое пятно.

— Треч, я тоже к вам...

И на подоконник поэт кладет свою бедную, затуманенную лысую голову.

— Я знаю, вы завтра уезжаете... Втроем... Треч... я не поверю в вас, как Минович, но... Я не пойду за вами повсюду, как он, но одно... Одно... Треч... Я хочу... Я прошу... Пусть «светлейшая» на одну минуту заглянет ко мне в комнату... На одну минуту. Только коснется моей стены... глянет на мой стол... рукой своей тронет мой карандаш.

— Все?

— Все, — отвечает поэт и от боли, жути и ненависти впивается остатками выкрошенных зубов в свою руку диким укусом, чтобы заплакать, закричать, засмеяться, загоготать.

— Хорошо, спокойной ночи.

И опять стучит задвижка, и снова дребезжит стекло.

А несколько часов спустя, при дневном свете, ясном, как мысль ребенка, «светлейшая» входит в комнату поэта.

И поэт, роняя тарелку, опрокидывая стул, пятится назад: играя его карандашом, «светлейшая» говорит, что вечером уезжает; касаясь стены, спрашивает поэта, останется ли он здесь на зиму, и, глядя на стол, трижды повторяет: «Ну, вот, я уезжаю», — и уходит, как тень, как и пришла тенью.

«Светлейшая... Светлейшая... Покорная, как служанка»... — бормочет поэт, а когда за дверью исчезает гладкое белое платье, схватывает карандаш, бросает его на пол, топчет ногами, но вновь поднимает и целует, целует — обыкновенный чернильный карандаш, от которого остаются на губах лиловые пятна.

Лунину скверно — он умирает; на рассвете густо пошла кровь, а потом стало легко и просторно, как будто из погреба вышел на лужайку, полную ромашки. Он умирает и сознает, что конец приходит ему, прапорщику в бегах, с пулей в боку, потому он Андрюшка с утра отослал в гости — к ребятишкам калужской помещицы, потому он не отзывается на стук Мировича. Немного погодя Мирович снова подходит к двери, прислушивается, заглядывает в замочную



скважину и, словно в перевернутый бинокль, ясно, но на далеком расстоянии, видит кровать, сброшенное одеяло, поднятый кверху подбородок, напряженную шею и слышит хрип, похожий на бульканье воды из узкого горлышка.

Мирович сходит вниз и тем же ровным шагом раз навсегда заведенной игрушки идет к Тречу и, не переступив порога, говорит:

— Лунин умирает. Вы должны его взять. Вы все можете. Увезите его в Меран, в Алжир. У него одно легкое.

Треч вскакивает:

— Еще кого? — и впервые угрожающе скалит ровные, один в один, зубы. — Великолепно. Богдельня под фирмой «Мирович, Треч и К-о». Может быть, и поэта прихватить? И вице-губернатора? Чудесная компания: чахоточный, сумасшедший и паралитик. Еще кого? Поройтесь в памяти, найдите! Фелюга с богатым неслыханным грузом: 45 пудов netto обломков. Специально для заграницы, для Бомарше, Вертгейма, для турецких и армянских купцов. Еще кого?

— Тогда я не еду, — отвечает Мирович и держится за косяк двери, чтобы не упасть.

— Вот как? — Треч вплотную подходит к Мировичу. — Вот как? Прекрасно. Ставьте клизмы Лунину, выслушивайте ямбы поэта, грейте вздутый живот паралитика и считайте, что вы блестяще завершили свой путь. Блестяще: клистирной трубкой. И это после всех бурь, после всех поисков, падений и возвышений? И накануне новых, изумительных,

неслыханных бурь? Великолепно! Что же, все русские бунтари кончают мирно: кто «исходящим» и «входящим», а кто клистирной трубкой. Хорошо. После всех катастроф розовая водица; после восстания против бога — елейный шопоток: брат мой во Христе, не хочешь ли на горшочек? Очень мило, очень вежливо. Что же, вольному воля, но «светлейшая» поедет! Поедет, мой дорогой, сентиментальный первокурсник. А если я вас!..

Треч заносит руку и вдруг заливается веселым, рокошущим смешком, дружески обнимает Мировича и ведет его ласково, но настойчиво к креслу.

— Ах вы, чудачок, чудачок! Так я вам и поверил. Не из такого вы теста, не мог я ошибиться: глаза ваши — враг ваш. Катастрофические глаза, а я такие обожаю. Ах вы, злой насмешник! Умиравших похоронят и без нас, поэтов мы оставим историкам литературы, а мы увидим Золотой Рог. Это будет наш рог изобилия. Ах, дорогой мой, как помчится фелюга мимо обалдевшей стражи! Какой длинный, предлинный нос мы покажем воюющим сторонам, как мило мы улыбнемся всем красным и белым, цветным всяческих мастей. Мимо, мимо всех и всего. Это будет в нашем стиле. Я знаю, как вы однажды изволили на Волге, когда Царицын... Молчу... молчу, ладно. Ах, как мы понесемся по голубым волнам. Ведь вам должна нравиться такая смелость. Где-то воюют, где-то Петры вспарывают животы Иванам, калужские перерезывают глотки мелитопольским мужичкам, а мы мчимся по морям. И в Константинополе открываем блестящий салон с Ириной Алексеевной

во главе. Политический салон, истинно-дворянский, с короной на каждой салфетке, чтобы вдоволь позабавиться над политикой, министрами, комиссарами, французскими агентами, мужичками, рантьерами и генералами без армий. Быть может, вам улыбается другое? Радикальный кружок в Берлине? Радикальный вплоть до социализации жен, с сиятельной в качестве хозяйки? Недурно, правда? — правнучка героя 1812 года, о котором знает каждый школьник, и интернациональная лаборатория бомб; рюриковская кровь, без примеси, и санкюлоты всех стран, от индусов до эскимосов. А что вы скажете насчет легкого, где-нибудь в Париже или Рио-де-Жанейро, заведенница с мальчиками, переодетыми девочками, и девочками в коротеньких штанишках? Тише, не дергайтесь. Спокойнее: Ирина Алексеевна идет. Не злитесь, «светлейшая» любит вас, только вас, и с ней вы... Тише, она уже здесь. Ирина Алексеевна, вы кстати: Мирович только что видел хозяина фелюги, она ждет нас за мысом. Мы едем сегодня, да? Вы готовы?

— Я вся тут, — не поднимая глаз, отвечает «светлейшая», идет к столу, а проходя мимо Мировича, внезапно нагибается, схватывает его руку и целует ее. Раз, другой...

Треч улыбается.

А поздно вечером, когда гаснут все мангалки, и в саду Пататуева небольшие домики, похожие на детские копилки, сонно жмутся друг к другу под мерный и плавный рокот моря, Треч, «светлейшая» и Мирович идут к Чертову пальцу, налегке, без ве-

щей, словно прогуляться: впереди «светлейшая» в своем платье из маркизета, а последним Треч, играя тростью с золотым набалдашником.

Чертов палец надвое рассекает море, по ту сторону Святая бухта, попасть туда можно только на лодке или перейдя Чертов палец. Два — три стражника бродят вдоль берега. Когда Треч с берега сворачивает к горной тропинке, один из стражников просит прикурить; Треч протягивает ему свою сигару, стражник, закулив, козыряет, и Треч одним прыжком догоняет ушедших.

Ночью набегают тучи.

До рассвета мелкий дождь, почтя осенний и по-осеннему скучный, не выпускает из своей сплошной сети дома, скалы, деревья, лишь к утру пропадает за горами.

И к утру снова безоблачно небо, снова ясна левая сторона, та, где холмы безмятежны и покрыты вереском, и опять справа угрюм и сух Чертов палец.

А перед ужином харьковская медичка, свершая свой обычный моцион, у подножья Чертова пальца натывается, точно сослепу, на искалеченное, изуродованное тело Мировича. Он лежит на камнях, пораскинув ноги, рассеченную голову уткнув в расщелину скалы, откуда испуганно разбежались пестрые ящерицы, и в одной руке его зажат кусок какой-то черной материи, но его собственный черный пиджак цел.

Все прибегают: и певица, и действительный статский, и калужская помещица, и даже паралитик вице-губернатор изъявляет желание взглянуть. Охает Пататуев, суетятся стражники, один из них верхом

мчится за приставом в соседний городок, где много пыли, караимов, и где ежедневно благотворительные сборы, покачивают бородками и тубетейками пожилые татары, отгоняя мальчишек.

Только поэта не видать, хотя всюду ищет его харьковская медичка.

И Лунина нет, к которому та же харьковская медичка стучится да стучится, а достучатся не может.

Вечер все глушит: и стук, и разговоры, и плач Андрюшкà.

В этот вечер рано гаснут мангалки, свечи и лампы на балконах, но синий огонек звездочета загорается в определенный и неизменный свой час.

Когда в море отражается Вега, четырехугольный Бурейша-Домгайло-Кричинский лезет на вышку.

Скрипит старенькая лестница, одноглазый телескоп глубоко впивается в небо, ищет и радостно находит свою звезду, а на губах Бурейши, над всклокоченной бородой цвета шафрана, бродит и ширится лихорадочная безумная улыбка — улыбка любовника без измен, любовника навсегда.

Коктебель — Москва

1921

## ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ БАРОНА ФЬЮБЕЛЬ-ФЬЮТЦЕНАУ

**Э**ТО рассказ о том, как погиб барон Оскар Бернгардович Фьюбель-Фьютценау, последний в древнем роду, единственная уцелевшая особь мужского пола российских Фьюбель-Фьютценау, потомок мальтийского рыцаря, как вычеркнут был из списка московских жителей барон Фью-Фью, проживавший на Арбате, по Нащокинскому переулку.

И еще рассказ о том, что в жизни нашей сосед по коридору может стать и ангелом-хранителем и убийцей — и разве знал барон Оскар Бернгардович, что с Пембеком входит в дом его неминуемая судьба?

Пембека вселили к барону в январский вьюжный день, когда на Арбатской площади сугробы в чехарду играли, а по крыше бывшей «Праги» ветер метался бешенее пойманного мешочника. Но сам-то Пембек был тих и скромн, из трех баронских комнат удовлетворился той темной, где раньше лежали дорожные принадлежности, баулы всякие, чемоданы (рьяным путешественником был когда-то барон, —

но об этом ниже), председателя домкома, водителя своего, облобызал, а барону, подав руку, сказал грустно:

— Эх, жизнь! Приходится тревожить чужих благородных людей. Ради всего, снизойдите.

И ножкой шаркнул, маленькой ножкой; ножка в желтом ботинке на пуговичках, а на голове пышная меховая шапка с длинными ушами-хвостами, хоть подбородок подвязывай, да еще раза два вокруг шеи оберни, а на плечах пальцецо демисезонное, цвета облупленного кирпича из развалившегося московского дома.

И вот попозже, когда у себя в новой комнате повозился, покашлял, насморкался, обоим общупал и часов в девять постучался к барону — «разрешите войти» — и снял свой полярный головной убор, оказалось, что весь-то он в кулачок и весь безволосый; даже вместо бровей пустое место.

И нежным, даже при шести градусах тепла баронской комнаты, нежнее девичьего вздоха голоском отрекомендовался новый уплотнитель:

— Пембек, Капитон Иоаннович, православный интеллигент, невзирая на иностранную фамилию почти из Диккенса, по слову моего близкого друга, артиста Первой студии Художественного театра.

И, присев рядом, молвил Пембек барону:

— Вы не сомневайтесь, дорогой, высокопочтенный барон, что в моем лице вы найдете подлинного соседа в нашей сегодняшней собачьей жизни. Эх, жизнь. Я буду уважать ваши почтенные годы, ваше благородное звание, не поддающееся аннулированию.

Я за аристократию с детских лет и, между прочим, за культуру.

Откланявшись, Пембек исчез, длинные заячьи хвосты, пятнистые, юркие, мелькнули, барона Фьюбель-Фьютценау по лицу мазнули, мимо недоумевающих старческих глаз пронесли и тоже исчезли.

Сгнули хвосты, Пембек сгинул — до утра, чтобы потом, на следующий день, почти с рассвета, когда еще окна безжизненно-сини, а за окнами жизнь мертва, глубоко, зловеще, навсегда внедриться в бедное баронское русско-немецкое существование, по Нащокинскому переулку, в январский снежный посвист.

Поутру у Пембека в кармане лежала баронская продовольственная карточка, — мадам Тотейль, из подвального этажа, посредница по ликвидации баронских остатков и поставщица предметов первой необходимости, была отринута в 24 минуты и безоговорочно отправлена назад в подземелье.

К вечеру рядом с карточкой очутились ключи и даже ключик от заветного секретера.

В ящиках и сундуках Пембек обрел катастрофическую пустоту, в секретере грудились перевязанные лентами письма, бумаги; долго дрыгали заячьи хвосты, сокрушались, долго не могли успокоиться.

Дня через три Пембек переселился к барону, завладел оттоманкой, покрыв ее последним уцелевшим ковром — тем самым, что висел над кроватью барона и сырость прятал, гнойные пятна истерзанных обоев.

Морщась, барон пополз в коридор, в темени охал, из темени вытащил старые худосочные ширмы и отгородил оттоманку.



А к концу недели сказал Пембек, что у барона слишком длинная и неудобопроизносимая фамилия, а имя и отчество отнюдь не приемлемо и что надо фамилию по-советски сократить.

В ширмах были две дырочки — наблюдательный пункт Пембека, — и в одну из них крикнул однажды Пембек с оттоманки:

— Барон Фью-Фью. — Ночью, когда барон сидел на краю постели и, стиснув изо всей силы колена, старался понять, почему он не один в своей комнате. — Фью-Фью, ложитесь, вы мне спать не даете.

А еще дня через три барон подошел к другой дырочке и сказал со слезами:

— Боже мой, сколько вы злой и неделикатни человек. — И седым виском припал к выцветшему шелковому павлину.

И это было ночью, как ночью же в обе дырочки говорил Пембек:

— Ничего подобного. Я уважаю вашу старость и ваш герб. Я отнюдь не демократ и в благородстве воспитан с детства. Я вас полюбил. И я о вас забочусь. Топлю вам печку? Топлю. Кто вас вчера угостил картофельными бесподобными оладьями? Я. Кто вам обещал билет на лекцию Луначарского? Я. Все я.

— Я не желаю Луначарски, — сухо ответил барон и последним усилием вскинул голову. — Мы не знаком.

И опять плечи обмякли, да и спина тоже — не долго храбрилась: снова пополам перегнулась.

— Вы печку топили моими креслами. Вы как жадный лев рвали мой мебель. Я очень проклинаяю

тот час, когда я кушкар ваш олядьи, хотя масло быть мой. Боже мой, боже мой... Я не могу жить в одна комната с посторонне персоной. У меня очень разорванный калесон... Мне стыдно... Мне стыдно... Я очень не могу. Можете взять... alles, alles, мне ничего не надо, только оставляйте меня в мой комнат.

И в дырочки пел Пембек, вкрадчиво, вкрадчивей первой скрипки в Большом Государственном:

— У вас подагра, вы не умеете говорить по-русски, это очень нехорошо. Вам шестьдесят лет, а я благородно хочу помочь вам, озарить вашу старость светильником добра и любви. Я вас женю.

— Wass? — И, спотыкаясь, ухватился барон Фьубель-Фьютценау за ширмы; качнулись шелковые павлины, поплыли, поплыли, — поплыл и барон.

В дырочку хихикал Пембек:

— Кислый квас. Женю!

У Пембека голая голова, конусом — для заячьей шапки находка; мигом натянул малахай — и шмыг на Арбат, через снежные заставы, по делам своим, деловито, спешно и озабоченно, как вот торопятся честно на службу машинистки, заведующие тарифно-расценочным.

У Пембека дела повсюду, даже на Таганке, даже в извилинах Коровьего вала, а у барона волос к волосу аккуратно прилажен, и малахая нет, только цилиндр сохранился — из последней поездки в Спа.

И спешить барон не в силах, и нет у него никого, даже в соседнем Афанасьевском, и самого крошечного сугроба не преодолеть барону без чужой помощи — где вы, швейцарские горы, верхушка Urirotstock'a,

где некогда (совсем еще как будто недавно) барон свержу кричал земле сквозь облака:

— О-го-оо! — И где вы, фиорды голубые, — ах, поездил барон на своем веку немало, — видел Тунис и Берген, Капри и Золотой Рог, — поездит теперь на баронских русско-немецких плечах востренький человечек, безбровый, домкомской рукой введенный в круг баронской жизни, подобно занозе, — и кнутиками, кнутиками защелкают заячьи хвосты.

Ах, немало женщин целовал барон на путях своих, — цветных, белых и смуглых, — и кого теперь предназначает Пембек для законного супружеского поцелуя...

— Mein Gott! Mein Gott!.. — Карабкаясь, изнывая, ловят руки дверную цепочку, чтобы дверью плотнее, сильнее, надежнее, вернее, скорее заслониться от Пембека, от Пембека, а с ним от всего того, что началось три года назад, что ворвалось сквозь снег, вьюгу и ветер, в мешанине, в вихре, в пламени, в криках, в песнях, в звонах, в гуле, в топоте и разнесло на части плацкарты, гидов, шабли, отели и кальсоны...

А Пембек согнутым пальчиком постучал вечером — и барон немедленно снял цепочку — безнадежно, покорно и мертво.

В этот вечер в печку отправилась добрая половина заветного секретера, едва согласился Пембек отдать письма.

Хорошо грел секретер. Пембек даже чуть-чуть заалел, и по пальцам считал Пембек, что дают за невестой:

— Пять пудов ржаной муки. Хорошая, я видел. Пуд газолина для примуса... Мне драповое пальто...

Башлык белый вам... Бидон постного масла... Две дюжины носовых платков без меток... Сахару...

И еще нежнее сказал Пембек:

— А в день появления на свет божий младенца, месяца так через два, мы получим от тестя три ящика шоколада. Он нынче по шоколадной части.

И, от тепла секретерного разомлев, совсем шепотком просюсюкал Пембек:

— И все это в удвоенном количестве за церковный брак. Два башлыка. То-то! Я за церковный, невзирая на Советы. Старик плачет: на Таганке баронов уважают и высоко возносят. Завтра с первым визитом и за задатком. Какими оладьями я вас потчую! Вечером в студию — мой друг и приятель Диккенса изображает.

Ночью Пембек снова цыкал в дырочку:

— Фью-Фью, пора спать, тушите свет.

— Тусю, — ответил барон и, потянувшись к выключателю, стал оседать.

Утром Пембек повел барона на Таганку — невесте представиться, тестю документы показать, грамоты немецкие с печатями величиною в блин, чтоб воочию убедились на Таганке, как не оскудела еще земля русская знатными людьми.

И велел Пембек барону семейные фотографии захватить; предварительно просмотрел их и выбрал те, где мундиры и ордена.

И саночки прихватил Пембек — по снежным московским рельсам задаток переправить.

Вот так в февральское низко-реомюрное утро появился на Арбате цилиндр черный, лоснящийся,

а малахай, хвостами размахивая, точно лопастями воду рассекая, потащил его на буксире: впереди малахай, за ним цилиндр, а на прицепе саночки с тарой.

Уже минут через пятнадцать, к Моховой подходя, барон дышать не мог, а малахай все тянул да тянул, к Театральной поволок, на Варварку свернул.

И стал барон синеть: сперва уши посинели, потом синева по щекам поползла. Пембек вправо потянул барона: к автомобилю крытому шла из подъезда личность с портфелем, в пальто европейском, и барон чуть было на автомобиль не напоролся.

А синева уж до шеи добралась. Обдирая на себе ворот, барон судорожно повел головой, и глаза барона Фьюбель-Фьютценау увидели перед собой, после долгих лет, шляпу заграничную, кашне берлинское, краешек крахмального воротника.

С криком коротким, тугим, промерзлым, раздирающим колким острием глотку, гортань, небо, рванулся барон от Пембека, поближе к кашне, к шляпе к Европе, к Спа, к паркету в отеле:

— Um Gott... Ich... sterbe...

Мягко снег на Варварке, неподалеку от одного из подъездов Делового двора — мягко, ласково принял последнего в роду баронов Фьюбель-Фьютценау.

Сугроб справа, сугроб слева, — и посередине замер черный цилиндр, а малахай — малахай сгинул, только саночки остались, да и тара...

Москва — Красково

Август 1922

## ЛЮБОВЬ НА АРБАТЕ

**Э**ТО второй рассказ о том, как живут и умирают на Арбате. Первый был о последнем путешествии последнего в роду баронов Фьюбель-Фютценау, о его головокружительном путешествии с Нащокинского на Таганку страшнее поездки какого-нибудь безрассудного норвежца или датчанина на край Северного полюса: первая ледяная глыба Воздвиженка, следующая Моховая, белые медведи на Театральной и т. д.

А этот о любви на Арбате — о Трече, Викторе Юрьевиче, и о девушке из театральной студии, где третий год готовят пьесу Бернарда Шоу, и в пьесе этой главную роль дали Вале Сизовой, а пока что у Вали Сизовой опухли пальцы от холода, и, говорят, скоро останется она без зубов: цынга подкрадывается.

А у Треча ослепительно белые зубы.

Он брит, корректен и всегда свеж, по виду самый что ни на есть джентльмен с коробки папирос высший сорт «А», даже когда за день во всех главках побывает, а сбоку, под верхним наружным кармашком,

у него эмалевый красный флажок с пятиконечной посередке.

Когда в первый раз остановил Валю на углу Афанасьевского, весь сверкал, и почудилось Вале, что паркетный он, только слишком густо-коричневый.

Впрочем, все коричневое: автомобиль его, перчатки, портфель, и на двери коричневый плакатик:

«Уполномоченный Южпромсека т. В. Ю. Треч».

По холодному, по советскому году редко Треч снимает шляпу — это уж от Москвы, а так: безукоризненная тужурка, великолепные навощенные краги, но шапка всегда бессменна на голове. И если б снял — даже Вале Сизовой кинулась бы в глаза странность одна: волосы у Треча, как у женщины, низко начесаны на уши.

Но как знать Вале Сизовой, что таким ухищрением прячет Треч уши свои — плоские, серые, волосатые.

Да еще кое о чем не знает Валя Сизова.

Не знает того, что курит Треч всегда одну и ту же сигару, и никогда она у него не гаснет, никогда не уменьшается (а пепел не увеличивается и не отпадает), и что, закурив ее при белых в Крыму, в Коктебеле, когда увез с собой в Константинополь светлейшую княжну Кошуро-Машалову, он продолжает курить при красных, и от этой сигары сотни спецов, даже немало коммунистов, закуривали свои «иры», «явы» и махорочные крутеныши в разных комиссариатах, секциях, подсекциях.

Но ведь Валя Сизова не курит — это прежде всего, а потом, пусть даже торчит на голове Треча дамская шляпа с тонковолосым эспри или попов-

ский гречушник, — все равно, все мимо глаз пройдет дымком беглым, когда рука протягивает записку от Коли:

«Доверься подателю записки, до встречи, целую».

И мигом скачет Арбат, тротуар из-под ног уходит, корявый, выщербленный, кирпичик торчком перестает служить зацепкой, и не поддержи Треч — упала бы Валя Сизова, почти так, как уже третий год учит постановщик Хабалов и научить не может.

Записку от Коли на Арбате прочесть — после трех лет горести, мути Арбат снова полюбить (еще до сих пор в ушах пушки Александровского училища); на Арбате от Виктора Юрьевича Треча узнать, что жив Коля, — к Виктору Юрьевичу немедленно душой прилепиться.

В крючковатых, извилистых, кривоколенных особнячковых арбатских переулках нелегко в дождь, слякоть плакатик «уполномоченного» разыскать, в сумерках чутьем прочесть, что прием от 4 до 6, и в ужасе подумать:

— Опоздала.

А в башмаках пруды патриаршие, а сердцу мочи нет к трем годам ожидания еще один день прибавить, но за одним чудом, повидимому, всегда другое следует: еще не постучала робко занесенная рука, а уж сам Треч открывает — двойной чудотворец: Колю оживил, к Коле приблизил.

Но краток Треч: за белопенными зубами слов мало — не рот, а сейф опустошенный. Не рассказывает, как встретился с Колей, не хочет сказать, похудел ли Коля, по-прежнему ли курит много и



по-старому ли, волнуясь, все спичечные коробки мелко-мелко крошит.

Только говорит:

— Сами увидите... В Крыму, в Гурзуфе.

И на слезы глядя, на девичьи, хотя и октябрь на дворе, но весенние, в арбатских слякотных сумерках изнутри пронзенные солнцем внезапным, гурзуфским, — кончиком длинного и заостренного языка пробежал от верхней губы к нижней, словно облизнулся.

— Да, да, сами. И скоро. Только послушание, послушание и еще раз послушание.

И сумочка ветхая, еще мартовская, первореволюционного времени, когда Коля купил ее заодно с книжкой об Учредительном, задрожала в туго-опухших пальцах, готовая на все, навеки, для вечной преданности.

И угостил горячим неслыханным кофе.

Таким, что до позднего времени, на 127-й репетиции, на губах привкус очаровательный оставался, даже ночью ощутила его, когда, после Бернарда Шоу, в 127-й раз вернулась домой, в каменный гроб свой (3 × 2, три в длину, два в ширину), и, ноги в мамин театральный капор сунув, сушила мокрые чулки на «осраме».

Всю ночь горели губы — любовью, ночью кофе был ни при чем: когда в комнате ниже нуля, любой пылающий кофе остынет.

Но, боже, когда три года подряд бедное студийное сердце замирает при виде каждой обтрепанной шинели, бывшей офицерской, и четыре буквы — «к», «о», «л», «я» — важнее всего алфавита, даже если

при помощи его составить жирную афишу и имя свое запечатлеть в душах актео... тео...

— Послушание, послушание...

Все послушно Тречу: шофер в назначенный час подает коричневый автомобиль к коричневой двери, Арбат всеми лужами своими расстиляется покорно под шинами, широко и вольно разбрасывает автомобиль брызги черные и меткой коричневой метит зазевавшихся, портфель коричневый, не протестуя, пухнет бумагами срочными, важными, где в «24» каждый гриф и сорок восемь подписей в 24 минуты.

И не тает, не уменьшается сигара коричневая, и в каретке горит да горит красный пламенный кружок сквозь неосыпающийся налет пепла, — в каретке широкогрудого мотора, когда под шляпой шевелятся плоские волосатые уши и ловят дыхание Арбата, дыхание Москвы, дыхание России.

И еще: робкий, чуть слышный вздох ученицы Хабалова, постановщика московского, — девушки с зелено-пепельными щеками от воблы, морковного чая и продовольственной сентябрьской, аннулированной в октябре.

— Да, ради Коли все. Но я его увижу?

За коричневой дверью Треч улыбается:

— Даже скоро.

И карандашиком чертит по блокноту, словно по карте, показывает, как поедут, каким путем повезет к подпоручику Ромейке Валентину Сизову: вот так Арбат подведет к Брянскому вокзалу и — прощай, Арбат, мокрый, облупленный, оспенный в пятнах от вывесок, сменит тебя Гурзуф, зелено-лиственный...

Но даже к солончакам готова В. Сизова-первая (есть еще Сизова-вторая, но та до Бернарда Шоу не добралась: возится пока с инсценировками басен Крылова), — ради Коли даже к черту на кулички.

— Туда и не потребуется, — кривится Треч, Виктор Юрьевич, и ногами под столом стучит, точно вот куснула его одна-другая арбатская блоха. — К вечеру не надо поминать их. А ради Коли, дорогая, вам предстоит пока малость одна. Чтоб в Крым попасть — нужно нам сперва некоего Петросьяна раздобыть. Это будет не очень сложно. От остальных хлопот я вас избавлю. Еще успеете в дороге натерпеться. Впереди вагоны без стекол, грязь, мешочники. Довели Россию. Но не будем говорить о политике. Ведь и вы далеки от нее. Не правда ли? Все в искусстве и все для Коли. Не так ли? И я брезглив по этой части. Предпочитаю книгу, картину, бронзу. Ну-с, и вот...

Треч вынимает из портфеля канцелярский конверт, вместительный, демократический, из канцелярского другой — узкий, эстетичный, с рубашкой внутренней, бледно-синей.

— А теперь слушайте внимательно.

И перестает Треч улыбаться, подбородок крючком еще больше загибается вовнутрь, — вот-вот сейчас крючком-хвостиком по зубам побежит, на зубах застрянет, огонек сигары суживается, точно прищурился, чтоб внимательнее взглянуть-ожечь.

А за окнами Арбат всхлипывает, попискивают кривоколенные, дрогнут, размазывают по особнячкам — по щекам старым, сморщенным — пятна дож-

девые, сквозь мелкое сито поминальные свечки — окна — тусклым светом горят не разгораясь.

— Слушайте внимательно.

И хоть не страшен конверт нарядный, а Вале Сизовой страшно.

Но ради Коли, ради любви пятилетней, ни разу не снизившейся... Но ради будущего счастья... когда-нибудь на том же Арбате, где когда-то, презрев случайного прохожего, поцеловал студент Ромейко гимназистку Сизову, и на углу Мертвого заколосилась живая благодатная любовь.

Но ради встречи с беглым подпоручиком Ромейкой надо и страх отринуть, и тревогу смять — и только молча благословлять коричневого чудотворца.

Ах, если б видел Хабалов, как чудесно расцветают глаза ученицы его Сизовой 1-й, точно дурманит их ранневесенняя черемуха!

— Адрес на конверте... Сивцев Вражек, дом номер... Вас спросят, кто вы. Народ недоверчивый и напуганный. Это понятно. По-человечески, без политики понятно. Нужно совершенно искренно и откровенно сказать, что вы невеста Ромейки. Кстати, вы когда-нибудь вместе снимались? Да? Чудесно. Сниматься вдвоем с возлюбленным — это прекрасный обычай. Как будто сентиментальный в наши жестокие дни, но очаровательный. Тотчас же захватите с собой все карточки. Вам поверят.

Разгорается алый кружок под серым пеплом, вьются голубые кольца, сеть сплетая, бритые щеки невозмутимо-спокойны, только колючий кончик языка нет-нет да пробежит по губам.

— Обо мне ни звука. Так надо: ни звука. Меня не существует в природе. Так надо: я не белый, не красный — я просто старый холостяк, который рад помочь людям вообще, потому, в частности, не надо меня называть ни на левой, ни на правой стороне — я в стороне от схватки. Также ни слова о Крыме, Гурзуфе. Вы невеста Ромейки, и вам необходим адрес товарища Петросьяна. Вас могут спросить: а кто вас направил в Сивцев-Вражек? Вы должны ответить: тот же Петросьян. Поняли?

Разве надо переспрашивать, когда по-гимназически, совсем как на уроке алгебры в Третьей Мариинской, губы взволнованно повторяют слово за словом, даже Шоу так не заучивала.

— Получив адрес, тотчас же идите туда, и когда вас проведут к товарищу Петросьяну, вы у него должны...

И веско, вразумительно доказывает Виктор Юрьевич наставление свое, к Коле путь прокладывающее, через Арбат к Гурзуфу ведущее.

Будь благословен коричневый особнячок, будь благославен бритый, милый англичанин.

И по Арбату, по Сивцеву Вражку спешат-торопятся каблучки стоптанные, по лестнице дом номер... вбегают в шестую квартиру, где на стене портреты Ленина, Свердлова, где в углу груды картофеля, а с дивана, из-под шинели солдатской, сверлят чьи-то глаза цепкие, насторожившиеся.

Спешит, торопится сумочка ветхая, бисерная карточки показать — студента вихрастого, затем прапорщика парадного рядом со шляпкой соломенной,

девичьей, весенней, и еще другую — любительскую: подпоручик с забинтованной рукой, а за спиной кресла белая блузка.

И успокаиваются под шинелью пытливые глаза.

И вновь по арбатским измочаленным тротуарам выстукивают каблуки дробь мелкую — зорю играют, рассвет приветствуют: кончается 'ночь трехлетняя — в Денежном у Петросьяна опояшет темное небо (темное небо над темным Арбатом в дождливый вечер) первая светло-возникающая полоска.

А за каблучками проворными сапоги тяжелые, но не менее быстрые, а за сумочкой куртка меховая, и поодаль еще тень одна, в обмотках, и еще третья, на соседнем тротуаре, будто сама по себе, но по линии одной с сапогами и обмотками.

И куда каблучки, туда и обмотки, куртка и спутник третий, а за дверью с плакатом «уполномоченный» не гаснет сигара в белопенных зубах Виктора Юрьевича, и кружок огненный видит сквозь пепел и переулки арбатские и Сизову 1-ю, ученицу Хабалова, и шесть глаз мужских, по линии одной, к цели одной — в вечер дождливый, в вечер арбатский.

Трудно без спичек по лестницам крутым, скользким заветную дверь найти — воистину ход в царствие небесное с земли грешной, с Арбата холодного, голодного, мокрого.

Но чует любовь верный путь — даже когда глухо молчат близнецы-двери и все звонки попорчены.

— Мне... я к Петросьяну ...

Сорвался голос (совсем как на репетиции неудачной, 126-й).

И ведут, ведут Валю Сизову к Петросьяну коридором, мимо сундуков, корзин, коридором влево, вправо, и на стук идет из глубины кто-то высокий, из тени к свету.

И на свету видение непостижимое, и на свету, по коридору, по сундукам, по корзинам, по Денежному, по Арбату крик исступленный:

— Коля-я-я!..

А за криком не слышно, как стучат в дверь неторопливо, но верно. Настойчиво: куда каблучки — туда и сапоги, и куртка меховая, да и третья тень, что как будто сама по себе.

Мокнет Арбат.

Несется по лужам коричневый автомобиль, шипит сирена, шипом кроет все Власьевские, Никольские, а в каретке, за стеклами выпуклыми (все выпукло, все видать, весь Арбат виден), говорит Виктор Юрьевич Треч соседу своему поникшему, в комок сжавшемуся:

— Дорогой полковник, не будьте бабой. Жаль, конечно, Ромейку, мальчик недурственный, но, милый мой, зато ход какой ловкий. В самую цитадель проберусь...

И летят из-под шин черные брызги и коричневой меткой метят зазевавшихся.

Москва — Красково  
Сентябрь 1922

## СОБАЧЬЯ ПЛОЩАДКА

**К**ОГДА-ТО особнячок был на виду, но в 1911-м пятиэтажный — доходный! — рыжий дом пролез вперед, кирпичный мужлан вогнал деревянного старичка в глубь двора, нагло, не стесняясь. Никакого почтения к прошлому, а помнил особнячок севастопольскую кампанию, у себя в зале с белыми колонками принимал Масальских, Щербатовых, Волконских, и еще до сих пор у крайнего овального окна стоит кресло, в котором приезжий заграничный гость, великан с серебристой бородой, рассказывал о прекрасном голосе приятельницы своей Виардо.

А в 1919-м оказалось, что на счастье это — вот уж не знаешь, где найдешь и где потеряешь, — не уплотнили, ореховую шифоньерку с замысловатыми тайными ящичками не приспособили для канцелярии Оккмы (в Оккме старший сын бывшего прокурора, Василий) или для хранения дел Упшосса — в Упшоссе дочь Валентина регистраторшей.

Хорошо, когда в глубь двора; на задворки — и турецкая оттоманка осталась.



И дни и ночи проводит на ней старый прокурор Анатолий Федорович Башилов — Златоуст московский; еще в 1917-м по виду хоть под венец или на два-три тура вальса в Дворянском, а в 1919-м пополам перегнувшийся, с губой отвислой и дрожью в коленных чашечках.

Оттоманка — и кабинет, и столовая, и спальня; все вместе, все на оттоманке: тарелка с селедочным хвостом, картуз с махоркой, желтая обложка «Исторического Вестника» и пальто бурое, с заплатами на локтях. А портьеры, фарфор, серебро еще в начале девятнадцатого уплывают на Сухаревку, Боровиковского уносят, шахматы китайские.

В марте еще острит Василий, теперешний начканц Оккмы:

— Я моль: съел фрак, теперь ем шлафрок.

И кричит с оттоманки старый прокурор:

— Освободи меня от этих мерзостных советских анекдотов. — А уж в декабре 1919-го и кричать перестал.

В ноябре 19-го около оттоманки два градуса ниже нуля. И тихонечко с крылечка сходит второй сын, Коля. Ему пятнадцать лет, в карманах «Ира», «Ява» и шведские спички. Анна Владимировна до ворот провожает, в калитке крестит Колю, за воротами Собачья площадка в сугробах, узкогрудый Коля посреди, как заблудившаяся собачонка, — и стремглав бежит Анна Владимировна обратно:

— Господи! Господи! — Но должен же Реомюр подняться.

Упорен Реомюр: поднявшись в среду, в пятницу опять падает.

«Иру» сменяют пирожки, пирожки — ирис кромский, а Собачьей площадке ни то ни другое не по нутру: не берет, не ест, только снегом скрипит. По ночам на углу Трубниковского, на углу Дурновского, Спасо-Песковского воют псы — спать не дают старому прокурору. Кто знает, чьи они: бездомные, или хозяйские, но без кормежки? — и ночью оттоманка — пытка, пытка под всем барахлом, что собирает в доме Анна Владимировна и укрывает.

Днем — другая пытка: на буржуйку Анна Владимировна ставит два утюга и на утюги горячие льет воду, чтоб Реомюр подпрыгнул: жестяно скрежещет печурка, по утюгам прыгают шарики, кружатся шибко, и бьет пар. Уже минут через десять пахнет баней.

— Убери, убери! — молит прокурор. — Лучше мерзнуть собакой, чем эти сандуновские.

Анна Владимировна бросается к утюгам, тащит, обжигая пальцы, и в белой зальце, прижавшись к колонке, в белом зальце тихо стонет, сама белая.

Все белым-бело: зальца, лицо, окна, Собачья площадка, Москва, Скарятинские, Кречениковские, Борисоглебские...

Что губит Колю — «Ява» ли, ирис ли, или смоленские сугробы — кто знает и кто сможет поведать? Но Колька (уже не Коля) погублен навеки: только ночевать приходит.

— Пороть! Пороть! — мечется прокурор по оттоманке.

А оттоманка хихикает измочаленными пружинами: знает старушенция, что насчет порки надо на долго воздержаться.

Надолго ли? Надолго, уверяет Колька, комсомолец городского района, и, пристегнув к выцветшей гимназической фуражке красную звезду, одним взлетом берет Собачью площадку и исчезает навсегда в морозном синеватом тумане.

Тра-та-та... Тра-та-та... — где-то бьют барабаны, хрипит старый прокурор, на отвислой губе, как водяные шарики по утюгам, слюна, проклятия, а красные знамена ширятся по Москве и, заставы раздвинув, бутырские, семеновские, рогожские, ползут на Урал, к Перекопу, на хребет Хинганский, к кубанским степям.

А в Оккме сосед по столу Василия — Максимилиан Казимирович Войдак — холеными пальцами перебирает бумаги, на серой палке отполированные ногти, розовые — кусочки ветчины елисейской — привет тысяча девятьсот пятнадцатого, а такой же, как Василий, партийный — П. П. П., партия прогрессивного паралича, бывший помощник присяжного поверенного.

И только: ни спец, ни коллегиальный член, а маникюр, крахмальный воротничок, правда, лишь краешком над тугим забориком безукоризненного френча, в вощенной бумаге, к двенадцатому часу, ломтики семги на белом хлебе, яйца, плиточка шоколадная — аккуратный пакетик, опоясанный шнурком.

Войдак, Максимилиан Казимирович, П. П. П., желтые высокие сапожки на двадцати двух пуговицах, папиросы «Асти», белоснежный носовой платок с хрустом, с духами — чуть ли не Коти — фантас-

магория, сказка Шехеразады, тысяча и одна ночь, двадцать две пуговицы — и однажды:

— Башилов? Сынок Анатолия Федоровича?

«Сынок». И губы в улыбку, мягкая ладонь, рукопожатие, точно в фойе зоновской оперетки, а за сим ужин в Литературном на Большой Дмитровке, за столиком под портретом Шаляпина, по соседству с профессором Баженовым, с балериной из Большого — улыбочка, улыбочка и взгляд изучающий.

— Как же... Как же... Знавал, имел удовольствия... Красивый был старик.

И взгляд успокоился: нащупал, ковырнул, определил и нашел. «Знавал», «имел» — и сказал в свое время:

— Предрассудки. Надо кормиться, дорогой мой. Надо самоопределиться, надо самому себе ответить: как мы будем кушать, что мы будем пить, чем мы будем печечку топить. Вобла?

— Вобла.

— Сакс ликвидирован?

— Давным-давно.

— И утюги на печурке?

— Два ниже нуля.

— Уплотнение до печенки?

— Нет: не тронули.

— Коллега, коллега... — сокрушается воцеленный, как бумага из-под семги на завтрак, пробор.

Сокрушаются бритые, с синим глянецом щеки.

— Как это глупо и... безобразно. Суций клад, а вы с санками за картошкой... Золотоносная жила...

И назавтра в белой зальце гость — первый гость за полтора года — Максимилиан Казимирович Войдак в тургеневском кресле. Войдак в восторге от зальца, от колонок и больше всего, паче всего от брандмауэра рыжего, который надежно заслони́л особнячок и, припрятав его, сам вылез на Собачью площадку.

Так и надо: к комиссарам — пятью этажами с разными хозами, комами, маскировка — *la guette contre à la guette*, прикрытие, а в глубине клад, золотоносный рудник.

Предварительно... да все очень несложно: побольше тепла — не «буржуйку», упаси боже, а по-московски, по-московски старую добротную голландку, — два круглых стола меж колонок, не мешало бы со скатертями такими, где ворсинки, — легче и приятнее карты брать, — третий, маленький, сбоку, с альбомами, не мешало бы с семейными карточками, раз были в семье генералы, сенаторы и посольские, четвертый с закусками, с самоваром — и десять процентов с каждого банка.

— Ни за что! — кричит Анна Владимировна, и пятится, пятится, приседая, точно по темени бьют ее, и машет руками — тонет, тонет в холодной пучине, а берег-то близко, но будь он трижды проклят!

И идет ко дну, камнем, урожденная Шамшурина, смолянка с шифром, в платке кухаркином, крестнакрест, поверх рваной кружевной парижской мантилии.

— Ни за что, — посерев, говорит Валентина, регистраторша из Упшосса, и хочет гордо вскинуть голову, а голова никнет: закружилась белая зала,

белые окна, а поверху пляшет стол с закусками: колбаса, калач, масло — бешено, в глаза норовя поближе...

А Войдак мигом рядом: подхватил, поддержал, повел к креслу — пахнет духами, к лицу нагибаются подстриженные усы, батистовый платок у лба — бред, сказка Шехеразады, тысяча и одна ночь... двадцать две пуговицы на стройной ноге Войдака, Максимилиана Казимировича.

— Ни за...

Окончание завтра.

А назавтра уже въезжает во двор воз с дровами, и Войдак Максимилиан Казимирович, с тремя свертками, целует руку, почтительно пригнув голову, и шепчет очень корректным шепотком:

— Ах, Валентина Анатолиевна, поверьте мне, что...

В Упшоссе у Валентины пальцы не гнутся, когда надо вписывать номера в исходящий.

Упшосс — скользкая лестница, в столике аннулированные карточки за декабрь, курьерша в овчине — говорят, в этих овчинах зараза, сибирская язва, — от соседнего ундервуда в висках ноющий зуд, точно в дупло, откуда пломба выпала, иглу сунули и иглой ковыряют, часовые стрелки ползут мухами осенними — саботируют... саботаж... верниссаж... вояж...

— Боже, боже, о чем это я?

Куда ехать?.. Куда бежать?.. Упшосс — это что? Русское слово, турецкое?

— Управление шоссейных дорог... Почему шоссейных, а не железных? Разве существуют еще шоссе? Кому они нужны?

— Номер 1211... Народному Комиссариату путей сообщения...

В белой зале шумит самовар, в белой зале пылает печка, в белой зале тонко пахнет духами...

— Ах, Валентина Анатольевна...

Упшосс — скользкая лестница, в овчине сибирская зараза...

— Не хочу. Не хочу.

А ровно в 4 входит Войдак, Максимилиан Казимирович, и на саночках мчит домой быстро, быстро — к белой зале, к жарким изразцам, к Собачьей площадке, а сегодня Собачья площадка совсем другая: прежняя. И как хорошо скрипят сани, Кречетниковский огибая.

Два дня подряд не вылезают дрова из печей — в себя приходит особнячок, расправляет онемевшие кости, обоями трещит, стужу гонит прочь, все деления Реомюра, нижние прахом идут, верхние лезут вперед. А прокурор под тряпьем на оттоманке еще не знает, что можно уже все барахло скинуть и лежать, не заботясь об одеялах. Но тепло ширится и дает о себе знать, и прокурор в недоумении.

— Анна! — зовет он и, кряхтя, приподнимается.

— Иди ты, иди ты, — толкает Анна Владимировна Валентину. — Боже, что мы ему скажем? Как мы ему объясним?

Валентина идет к отцу: в Оккме выдали дрова, в Упшоссе еще обещают.

Прокурор морщится:

— Знаем мы эти обещания. А вы уже разгорелись, в восторге, все сразу. Бабы. Экономить надо, экономить.

Валентина, не поднимая глаз, покорно отвечает:

— Будем экономить.

К ужину прокурор получает жареный картофель, французскую булку и сладкий чай.

Французская булка заставляет прокурора подпрыгнуть, но, хотя и съедает ее жадно, прокурорская старая закваска бродит — и настаживает прокурор.

— Анна, — зовет он опять.

В кухне Василий злится:

— Нельзя так, мама. Надо исподволь. Ты бы еще сразу с икрой, с анчоусами.

— Васенька ... Васенька... — бормочет Анна Владимировна и мелко плачет. — Ведь для него все, с него и начать надо. Васенька, иди ты, иди ты.

Василий идет к отцу и уже на пороге смеется, а смех чужой и упорно стынет на неверных губах.

— Это, отец...

Прокурор сдвигает седые взлохмаченные брови — две брови, две настоженные ночные птицы, внезапным рассветом испугнутые:

— Упшосс? Оккма? Василий, говори правду!

Для первого вечера Войдак, ради спокойствия Анны Владимировны, соглашается привести не больше пяти-шести человек, а закусок заготовлено на двенадцать, но Василий обещает назавтра уговорить мать, и Войдак благодарит пожатием: мягкая ладонь, духи, антракт в оперетке... «Король веселится», сейчас скажет: «Махнем к Яру».



Расставлены круглые столы, на маленьком столике, пока еще без альбомов, колоды наготове, подносы с холодной телятиной, с осетриной, со стаканчиками для красного удельного ждут своей очереди. Валентина у себя в комнате ничком на постели — и осторожно стучится Войдак.

— Сейчас. Сейчас, — отвечает Валентина — и опять в подушку: дрожь унять, пальцы сплести.

В одиннадцатом приходит первый гость: мохнатая бурка и гортанный голос. Двери открывает Василий, раньше, чем открыть, спрашивает:

— Кто там?

— Ыз Ныжного, — слышится в ответ — условный пароль, Войдак дал, у Войдака в Нижнем Новгороде брат, потому пароль такой.

Второй гость, вертлявый, сухонький старичок, отвечает бойко, быстро и весело:

— И-ги, и-ги, — из Нижнего.

Сугробами, через Собачью площадку, мимо рыжего дома, двором идут гости, а на Собачьей площадке тишь, белый сон, белая смерть, и пререзает их изредка собачий лай, мерзлый, твердый. Старый прокурор приподнимается на локте: опять не дают спать проклятые собаки, воют, точно в деревне, когда за околицей из оврага лезет волк, и ведь не дохнут, мерзавки, хоть и не кормят их, — живучи московские псы, ох, живучи!

Василий осторожно запирает двери, но все же стучат они — и по-морозному отчетлив стук.

— Анна! — кричит прокурор. — Анна, кто это пришел?

Василий бежит к отцу успокоить, солгать, но не обмануть заматерелого прокурора — наметан слух, любую фальшивую нотку поймает: будто верит — ложится опять, а ухо волосатое начеку, на дозоре брови — седые ночные птицы.

И в ночи явствен вторичный стук дверей, затем третий, четвертый.

Лежит прокурор, все ловит: шорохи, звуки; тишь ночную прощупывает, темноту сверлит остановившимся взглядом.

Уже не стучат двери, уже по-обычному, как третьего дня, как пять дней тому назад, не шелохнется дремотная тишь, а прокурор, голову с оттоманки свесив, прислушивается — свисает голова, губа отвислая книзу — и улавливает старый прокурор новые, подозрительные и страшные звуки: голоса чужие, голоса неведомые. А в белой зале, меж белых колонок, Войдак карты мечет и корректно вопрошает:

— Сколько?

— Двэсты.

— Жир! — заливается сухонький.

Прокурор сползает с оттоманки, — ноги не слушаются, одеревенели за зиму, редко они по полу ступали, дальше ночного столика ни шагу, а тут путь длинный: коридором, мимо детских комнат (белобрый Коленька, сорванец Вася и любимица Валя — каштановая косичка на белой пелеринке), к зале, к колонкам.

Спотыкается прокурор, от стенки к стенке, невидящими глазами в тупики и — чтоб потом, на пороге белой залы, увидеть меж колонок, милых, любимых

и с детства намятных, карты, жадные глаза, жадные рты — чужие, все чужие, — и дочь Валю — каштановую косичку! — рядом с френчем, а френч карты ей показывает, улыбается и ответную улыбку ловит.

И — назад, назад, так осторожно, так тихо, что половицы не пищат, и — назад, назад, так мертво, так без кровинки, что и биения сердца не услышишь — к черному ходу, черным ходом во двор и двором, двором, к Собачьей площадке, наугад, во тьму.

И за воротами, старой головой в снег, на четвереньках, старым московским псом воет прокурор, воет протяжным мерзлым воем.

И отзываются собаки с Трубниковского, с Кречетниковского, с Борисоглебского.

Красково под Москвой

Август 1922

## КИТАЙСКИЕ ТЕНИ

### I

**М**ОСКВА.

Вдоль и поперек, слева и справа, по диагонали, радиусам перерезают ее скоропалительные, стремительные — время деньги; рукопожатия отменены, кончил дело, уходи, — вывески трестов и синдикатов и вывески менее броские, более скромные уполномоченных Юга, Севера, Дона, Туркестана — хлопок; черное золото, жидкое; терпкая влага крымских погребов; меха собольи; кета амурская.

И вечером на Тверском бульваре слепой старик играет на флейте — в стужь, в дождь, жару, все равно — за две бумажные копейки плачет флейта.

В праздники горят щиты райкомов, к Профинтерну, к Коминтерну подъезжают автомобили, в час перерыва индус с японцем пьют чай бывшего Высоцкого, — за долами, за морями темные, смуглые, желтые шепчут: «Ленин», — за Страстной площадью, в комнатушке, где пять коек и одно оконце, бухарская девушка читает по складам: «Раскрепощение

восточной женщины есть одно из...», чтоб завтра поутру ответить товарищу Зусману.

И вечером на Тверском бульваре деревенской па-  
стушьей жалейкой плачет стариковская флейта.

А радиотелеграфист с Шаболовки вольной пти-  
цей мечется по воздушным волнам и тонким острием  
радиоприемника щекочет королей и премьер-мини-  
стров, щекочет и спать не дает.

А в самой почти сердцевине московской лежит  
островок: омывают его со всех сторон московские  
хляби, а захлестнуть не могут и Троеручицу за сини-  
ми огоньками лампадки не тревожат.

Синь, синь огонек — и в сонной заводи кукует  
смешно и ласково деревянная кукушка на пороге  
своего деревянного домика, откуда струится сонное,  
мирное, непотревоженное время.

## II

Островок.

Вглубь, в глубь двора — сереньким пятном, бед-  
ным, комочком незаметным, подслеповатыми,  
с бельмами-окошечками, к низенькому сарайчику —  
и пятиэтажным, бывшим доходным домом вперед,  
наружу.

В глубине сереньким комочком, рыжим брандма-  
уэром наружу: к комиссарам всяким, к разным по-  
датным, муниобразным, соцстрахным со всякими  
отчислениями и анкетами, рыжим пятиэтажным че-  
тырехугольником на любое лояльное прочтение.  
И прячется островок.

За рыжей махиной и не увидишь старого грибка, как в лесу за столетней сосной. А грибная шляпка-головка еле держится: не точат московские хляби, но подтачивают червячки, извилистыми дорожками, лабиринтами изъедают древесину, дело свое делают, потому вдруг ночью начинается стрельба под обоями, и тогда бормочет про себя Гликерия Антонова, почесывая теплый, в испарине живот:

— Ремонт нужен. Надо поговорить с Димой. — И засыпает, чтоб поутру снова забыть о стрельбе, и спит сладко, вкусно, точно уписывает слоеные пирожки, и чмокает во сне и не слышит, как в соседней комнате племянница Надежда мечется от стены к стене.

Вторая ночь без сна — сколько ночей может не спать человек, — вторая ночь в ожидании первой вечерней звезды. И вот: стрельба под обоями — думы о стрельбе на улице; тут червячки — там люди ловят человека, и мчится из переулка в переулочек человек, отстреливаясь от человека, от человеческой погони задыхаясь.

Не глядя, Надежда ищет под кроватью ночные туфли — остроносые, кавказские, шитые, двадцатый или тридцатый подарок Димы за последний месяц, — и к окну.

Распахнула форточку — выручи, ночь весенняя ...

А двор как могила — и на краю могилы только раз, другой:

— Дима...

И все. Не выручает ночь весенняя, не рождает в тиши стука милых шагов — и от стенки к стенке в тревоге, в боли, в отчаянии.

Потом потом со столика ночного берет часики — хрустальный шарик, а внутри живая жизнь бьется, жизнь под стеклом плотным: стрелки шевелятся, отмеряют время смерти и время сущего (то тоже подарок Димы), — к хрустальному шарiku подносит спичку. Загорается шарик, переливается огоньками, струятся, льются огоньки. Миг — и темень, и в темени ясно: поздно, уже не придет, в окошко не стукнет.

Ах, этим бы шариком да себя по голове, да закричать, да застонать — не сквозь зубы, а без удержу, — а потом показать перепуганной тетке Гликерии синяк на лбу:

— Вот потому и кричала. На косяк напоролась. Иди спать.

Катится по полу хрустальный шарик: остановилось время смерти и время сущего. На широкой, на двухспальной кровати — комок в углу, словно загнали в тупик зверька затравленного.

И белеют на полу подушки, простыни...

### III

Мир, тишина и сдобный хлеб.

Поутру, когда входит тетка Гликерия с подносом, и кофе дымится, и сдобные булочки, набухают и подмигивают острые изюминки, и тоненько звенит серебряная ложечка, и весталочкой сбоку белоснежная салфетка, опоясанная золотым с инициалом пояском, — уже чинно лежат подушки и простыни на месте назначенном, и будто сквозь сон бормочет-тянет Надежда:

— За-аспала-ась я... Ты меня балуешь.

И присасывается тетка Гликерия к краю постели капотным в разводах задом и поит Надежду с ложечки:

— Золото ты мое. Как же тебя не баловать!

А за дверью шарканье шлепанцев и тенорок дядюшки Илиодора Антоновича — тенорок ласковый, без заминки проникающий, точно вазелином обмазанный:

— Проснулась красавица? Можно к ручке?

И долу клонится взбитый хохолок, а глаза с подушечками с налету впиваются в щелочку ночной кофточки.

— Еще одну булочку, — уговаривает тетушка Гликерия и зачитывает: — А каких я рябчиков достала!

И подпеваает Илиодор Антонович, вазелин сахарной пудрой посыпая:

— А у нас сегодня к обеду пломбир и старое венгерское. Честное слово, 1884 года. Каково? Это тебе не паршивый Винторг. Твой Дима, доложу я тебе, исключительная личность, Надежда. Надежда, ты можешь почитать себя самой счастливой женщиной в Москве. Так жили только Рябушинские. И то до войны. — И снова к ручке — хохолком, и снова в вырез кофточки — голубыми стекляшками, и слипаются глазки от блаженства: удалось смуглый сосок увидеть.

И, изнывая от колючего отвращения, Надежда треплет по хохолку:

— Ты уж скажешь! Иди, иди, я буду одеваться.

С подносом плывет в столовую тетушка Гликерия, за тетушкой семенит Илиодор, шуршит свежим



номером «Известий», воцит пол шлепанцами, смуглым соском полон, брючкам в полоску тесно...

И в столовой щипком ярым впивается Гликерия в соломенную ручку Илиодора.

#### IV

Разговор короткий, с точками.

— Дурак, дурак ты неопиcуемый!

— Ой!

— Не пици.

— Пусти руку.

— Сколько раз я тебе говорила...

— Больно, больно ... пусти.

— Дурак, дурак веснушчатый. Сто раз тебе говорила: не тычь ей Димой в нос. Просила тебя: не расписывай. Нашелся иконописец! Дурак ты плюгавый. Умоляла тебя: не вылезай с этим счастьем. Жрешь, пьешь, баб покупаешь дарами чужими — и молчи. А ты все свое: самая счастливая... Самый ты идиотский человек в Москве. Скорей говори: наврал про венгерское?

— Честное благородное слово: 1884 года.

— Выклянчил?

— Не оскорбляй: я дворянин. Сам дал.

— Врешь! Три дня его не было. Врешь, как собака.

— Пардон, голословное обвинение. Пусти руку.

Я тебе говорю: пусти руку, а то буду молчать, как бессловесное существо. Ничего не скажу. Ты щиплешься, как кухарка, а еще в капоте. Вчера его видел.

— Где?

— Запиской вызвал.

— Опять врешь!

— Я молчу. Я не могу говорить под угрозой. Пусти, пусти руку. Довольно с меня коммунистов, так ты еще с насилием. Ничего не скажу.

— Илиодор!

— Я не оглох. Хорошо, хорошо... Клянусь: запиской. Тот самый... летчик принес. Виноват... что под летчика. Вызвал к Филиппову. Ну, закусили, то, другое. Просил не волноваться, если задержится. И преподнес. В корзиночке венгерское, Наде — фрукты, а тебе...

— Сколько?

— 25.

— Сколько стащил?

— Ни одного червонца.

— Врешь!

— Ты опять?

— Не пищи!

— Боже, боже, какая ты злая стерва, а еще моя сестра.

## V

Человек в пивной.

Звенят, стучат, гремят, бубнят, грохочут стулья, ноги, стаканы, каурые бутылки, блюда с горохом, ножи, вилки, разверстые рты, похожие на развороченные помидоры.

На помост — на плаху ежевечернюю — лезет Мишка-гармонист, мокреет красная рубаха, липнет

к спине; медно-красные сосиски раздвигают сизые человеческие губы, чтоб потонуть в ненасытных впадинах; растекается пена, умирая безропотно на дощатой поверхности.

За дверью — вечер весенний, весь полон намеками волнующими, за дверью — Москва, Кремль, гробница на Красной площади, первые чудесные завитки зеленой радости, — зеленый венок над курчавой головой внука арапа, — и выгибается, извивается, сжимается и вновь разжимается гармонь-итальянка.

И плачет, и стонет, и смеется, и бредит, и жалуется, и плюет на все, и кается, и захлебывается от слез, и звериным рыком рычит, и просит, и молит, и издевается, и ко дну идет камнем, — только побежали да разбежались под дымным потолком пьяненькие, нет, не круги, а так, кружочки, — извечная песня русской засморканной, заплеванной, прокуренной и проплаканной пивнушки.

И только один столик трезв. И только за одним столиком стиснуты зубы, и только за одним столиком не туманятся глаза.

И глаза прикованы к двери.

Дверь — как провал в бездну.

И когда из бездны появляется рукав, а на рукаве летный значок — человек в пивной выпрямляется, хочет встать. И — тяжело опускается на свое место: летчик идет к нему, летчик присаживается. У летчика — узкий рот и узкий подбородок, у летчика — узкая рука с длинными узкими пальцами, весь он узкий и острый, как лезвие: к столику присел — точно пополам его разрезал и стружки ни одной.

И летчик обручальным широким кольцом стучит о ребро стола, и летчик пенит пену — и только на миг тускнеет и притупляется лезвие: пьет жадно, быстро, одним глотком, с коротким клетотом. И у летчика — мокрые волосы, и одна прядь прилипла ко лбу.

И человек в пивной — тот один, который среди сотни сухо трезв, — хочет улыбнуться летчику и не может: только скривился.

Но лезвие снова отточено: и летчик на гримасу отвечает улыбкой.

Изгибается, выгибается гармонь-фокусница, потные пятна ширятся на красной рубахе: не то палач, не то жертва, — играй и умирай, умирай и играй, Мишка-гармонист!

И под топ, гам, хлюп легко говорить глазами, намеками слов:

— Кончено?

— Да.

— Обоих?

— Одного.

— Жабункова?

— Нет, Жабункову удалось — Гладкого.

— Выдаст?

— Обязательно.

На две, на три минуты стихла гармонь.

— Шпарь! Плочено! — надрывается отставная царская шинель с пролежнями на плечах — там, где годами крепко сидели погоны.

И подхватывает черная косоворотка в масляных следах:

— Заплачу, шпарь!

И снова — ходуном красный гармонист, сплелись в одно палач и жертва.

И человеку в пивной говорит летчик:

— Дима, это конец. Надо улетать.

И — наконец-то смог! — улыбается человек из пивной:

— От хорошей жизни не полетишь.

Летчик встает.

И вдруг человек в пивной с размаху бьет кулаками по столу и кричит — кричит вот так, как кричала шинель отставная, как кричала и слюной кропила соседние кружки косоворотка черная:

— Шпарь!

И тонет человеческий голос в пивном, в хмельном, засморканном, проплаканном, прокуренном гаме.

## VI

Положи меня, как печать, на сердце свое.

И два-три часа спустя, когда уже летчик на автомобиле мчится на Благущу, а Жабунков, на другом конце Москвы, сквозь зубы стонет от боли: крепко засела муровская пуля в плече — и одной рукой расковыряет по карманам деньги, документы, командировочные удостоверения, а Серебрякова, бывшая актриса, ходит за ним по пятам и, роняя головные шпильки, взвизгивает: «Ты не уедешь без меня, ты не покинешь обожающую тебя женщину», — человек из пивной подъезжает на извозчике к тому углу московской сердцевины, откуда видна близко пятиэтажная

гигантская коробка — днем рыжая, а сейчас, к ночи, дымчато-серая, — и от угла крадется к воротам.

И — от ворот к островку, к Троеручице, к кукушке, к деревянной вещунье, к окошку (стук-стук, условный знак, от которого бедное женское измученное сердце острыми, радостными лучиками расщепляется), к крылечку, к милым, к желанным рукам, вот так: рвануться, прильнуть, живой кровинкой обменяться.

— Надежда... Любовь моя ... Единственная.

А на Благуше летчик ждет, а на другом конце Жабункова сверлит муровская пуля, а еще в третьем месте Гладкий дает показания, адреса, быть может, дает, явки... но — затворница, затворница, месяцами держал ее взаперти, шелками одаривал, духами опрыскивал, куропатками кормил, на ладонь клал редкостные камни; камни переливались, играли, но не переливалась человеческая душа, огнями не исходила — мукой, и только ночью, только в ночь, в другую будил условным стуком и мучил до рассвета ласками и мучил вечным напоминанием: надо уходить — и уходил, как только светало, — полунощный гость, редкий гость.

А на Благуше летчик ждет, узкое лезвие врезалось... но — затворница, затворница!

— Надежда моя!.. Последняя.

И вот так: живой кровинкой обменяться, о беге часов забыть, времени сказать: я тебя не знаю, не тронь меня, и — забыть, забыть, как стреляют агенты, как ловят человека в переулках, как соловьями московскими заливаются свистки и как

на московском выщербленном тротуаре кончается человеческая жизнь.

— Надежда моя!..

— Увези меня, Дима, увези! Не хочу я колец, не хочу я серег. Все отдам за одну минутку посидеть с тобой рядом на бульваре, не боясь. Не хочу я обедов богатых, с винами. Не хочу венгерского 1884 года... Такой любви хочу, как любили в тысяча восемьсот восемьдесят четвертом... Без страха, без оглядки... Чтоб дом был дом, любимый — любимый, а не... Лучше голодной... Лучше так, когда мерзли, когда свеклу прятали. Но знать, что Москве ты не враг, что могу встречать, провожать тебя, как любая женщина... Как все другие женщины. Счастливые! Увезешь? Скажи, увезешь? Знаю, знаю: теперь уж в Москве нельзя. Для тебя Москва — могила. Моя Москва — и для тебя могила. Москва, а для тебя как плаха. Так увези, увези... Скажи, скажи: увезешь?

В хрустальном шарике, под стеклянным плотным покровом неумные стрелки плетут свою сеть и — маленькие — не отстают от больших — кремлевских: со всех сторон идет ночь на Москву, над всей Москвой ночной час на дозоре.

— Увезу. Тише, Надя, тише. Увезу. Я люблю тебя. Завтра вечером мы уже будем далеко. Я люблю тебя. Стрелял, связывал, в рот тряпку совал, а тебя видел. Люди тряслись, деньги отдавали, я их рассовывал по карманам и знал: все для тебя. Все. Потому что люблю тебя, потому что никого и ничего больше не люблю!..

О, как далеко до Благуши, и на Благуше летчик покусывает тонкие губы, и на Благуше летчик

прислушивается к каждому шороху... но — затворница, затворница!..

В комнате робкий всхлип — не то ребенок плачет, теменью напуганный, не то женщина, горести свои подсчитав, — все, все! — уже радостно к новым идет, всхлипнув напоследок.

И над всхлипом — голос, еще пока усталый, чтоб потом, попозже, в свою очередь, загореться новыми, другими — жаркими, телесными словами.

— Внутри, Надежда, все выжжено. И Москвы для меня нет, и России нет. Только одно могу: руки вверх и к виску револьвер. Бывший поручик Дмитрий Смоляков заставляет Москву руки поднимать, деньги отдавать, а у самого поручика ноги из глины: подкашиваются. Не стоит Дмитрий Смоляков на своих ногах, все шатается. Чужие ноги чужого человека. Какие они умницы, что таких железом каленым выжигают. Это из газеты, из декрета, но это веление настоящее. Какие умницы! И надо, чтоб завтра... Не слушай меня, это не я говорю, это мое отчаяние говорит. У тебя соленые губы. Почему? Дай губы, дай... Надежда, моя, чернобровая, ласковая, терпеливая... Уве...

Жаркая постель.

А своим чередом свершает земля свой круг, и, как было, как будет, как должно быть во веки веков, ночь послушно завершает свое ночное бдение — и идет рассвет.

И в весеннем легком рассвете, всегда, всегда, Москва возникает как некое чудесное выражение всех наших затаенных дум и чаяний.



## VII

Уши в глазке.

Глазок — это небольшое круглое отверстие в двери тюремной камеры, чтоб надзиратель мог в любую минуту из коридора глянуть: а вдруг арестант собирается повеситься на подтяжках своих.

Над глазком — из своей комнаты в смежную, в Надеждину — дядюшка Илиодор Антонович месяца полтора работал, работа тонкая, работал мышкой незаметной, а как прильнул в первую ночь к глазку — котом ярым на стенку полез.

По утрам: «Проснулась красавица, можно к ручке?», по старой привычке в вырез сорочки, кофточки — легальное наблюдение, а про себя, про себя: «Я тебя наизусть знаю, не хуже Димы твоего».

Вечер за вечером, ночь за ночью глаз в глазке, а подушечка глаз подпирает, а когда в комнате два голоса, два дыхания — приникает и ухо, сухенькое, маленькое: к глазку раковинкой — и все слышно.

И сухонькое ухо знает, раньше репортера «Известий», в какой конторе вчера троих связали и сколько беленьких и желтеньких транспортных бумажек унесли, и сухонькое ухо знает, что бывшая актриса Серебрякова заставила Жабункова для церкви одной всю трехдневную выручку отдать во спасение окаянной души.

И глаз видит, какой футлярчик в поздний час ночной на туалетный столик ложится и что в этом футлярчике вспыхивает.

И глаз и ухо счет ведут, а счет большой.

И как трепещут соломенные ножки в фильдекосовых кальсончиках, когда сорочка с круглого плеча, смуглого, сползает, — так и руки дрожат от футлярчика до футлярчика. И руки вожделенно тянутся — за один такой футлярчик любую женщину получишь, не то что курносую с Тверской — можно даже адресовать письмецо в оперетку, и даже в кордебалет с предложением насчет небольшого, вполне интеллигентного времяпрепровождения, — но стоп: стена, обои. И опять, и опять остаточки, объедки с пышного стола, крохи, наспех выклянченные скомканные бумажки, канитель с Гликерией, щипки без всякого уважения к мужскому достоинству.

Замирает ухо в глазке.

И однажды ухо отваливается от глазка, точно его ножом подсекли — и обалдевшие ручонки спешно, торопливо натягивают на фильдекосовые кальсончики полосатые брюки, и брюки стремительно несутся к двери: разбудить, разбудить Гликерию, караул, караул, кончается сытая жизнь, заест опять сволочная большевистская Москва...

Синь, синь огонек лампадки, не спит Троеручица, тремя руками благословляет, а по подушкам разметалась груда белого пухлого теста — и по локоть входят в квашню соломенные ручки:

— Да проснись ты...

И минут пять спустя несутся назад к глазку полосатые брючки, а за ними сопит, хлюпает квашня, и на ходу вываливаются груди, и тройной подбородок тянет за собой на буксире зад толстый.

И два уха льнут к глазку, и одно ухо другое отталкивает.

И, разливаясь вдоль стены, приликая к стене, белое пухлое тесто, растекаясь, набухая, мнет под собой встрепанный хохолок.

## VIII

Письмо летчика.

«...Мы улетаем. Мы засыпались. Ничего не поделаешь, это закон: десять, сто раз удачно, а на сто первом провал. Кризисы, крахи неизбежны, в этом я как будто марксист. Я, во всяком случае, шел на это. Не знаю, как мои милые товарищи по профессии, но я жил и делал свое дело сухо, просто, без дурацкой романтики. Как только на Тверской открылась первая гастрономическая лавка и я, изголодавшийся, как сукин сын, как крыса в жидовской синагоге, увидел после воблы, после ячневой — балык, сыр и великолепное итальянское салями, я сказал себе: кончено, надо жить. Надо, чтоб все эти нужные для жизни штуки были у меня: и рокфор, и вино, и женщины, и такси. И все это было у меня. И все это я брал охапками. Правда, жизнь моя начиналась ночью. Но ведь это только внешнее перемещение плоскостей. Я знал в Париже одного чудака. Он обладал особняком, крепкой рентой, не боясь никаких социализаций. И он вставал только в девять, в десять вечера. А как только поднималось солнце, он брал ванну, выкуривал сигару, раздевался — и в постель. И он говорил: солнце только для тунеядцев.

Нет ничего прекраснее московских лунных ночей. Я без сожаления покидаю Москву, и если буду жалеть — то не о ней. К черту ее, она стала похожей на проститутку, у которой под шелковым платьем грязная рубашка со следами старых менструаций. Буду жалеть только о тех лунных ночах, когда я после удачной операции мчался в Петровский парк. Ветер свистит, проносятся спящие дома, ни одного живого коммуниста, никого возле тебя, только ночь и луна — хорошо! Но, впрочем, мир велик. Будут другие ночи и другие парки. Хотя... Но ладно, я уезжаю с легким сердцем. Я не романтик, и потом: к юбкам я ходил на такое количество минут, какое полагается здоровому человеку в 35 лет. Жабунков везет с собой свою старую облезлую выдру. Он бы рад отвязаться, да не может. Эти бывшие инженерюшки к сорока годам прилипчивы, как большевизм. Мне его не жалко. Если можно кого-либо пожалеть — так это только Дмитрия. Тот любит по-настоящему. Тот любит, как любить умели в прошлом, когда Скобелевская площадь была Скобелевской, а не черт знает чем. Я и тогда не умел. Но другие умели: глупо, сентиментально, но красиво. Сейчас он должен приехать. Я жду его. Я ему категорически заявил: без бабы. Он обещал. Иначе пусть остается здесь и пропадает, как тихий идиот. Я убежден, что из-за нее он и пристал к нам. Ему бы быть честным хорошим спецом. Получал бы высшую ставку и вдвоем с законной женой ходил бы на концерты Персимфанса. А он... А его все нет и нет. Подожду еще полчаса и смену позиции. Скучища адская: ночью ждать

мужчину глупо и скучно. От скуки пишу тебе. Поутру моя глухая бабка с Благуши отправит тебе это письмо. Не бойся, не по почте. А потом — чего тебе бояться, ты собиратель человеческих документов. Скотство, его все нет и нет. И, по правде говоря, мне без него уехать трудно: я привык к нему, мне он какой-то своей стороной нужен. Какой? Не знаю, да и лень мне об этом думать. И знаешь, вот пишу тебе, убежден, что сюда ни один черт не заглянет, что здесь я в безопасности, как в Кремле, что Гладкий об этой квартире и не догадывается, а все же тревожно. И нет-нет, а тянет к окну и из этого оконца взглянуть на... Стучат. Это Дмитрий, наконец-то! Иду, кончу потом...»

## IX

День, не похожий на прежние.

Какое счастье, как чудесно проснуться поутру и рядом с собой на подушке увидеть — впервые, впервые в солнечное утро! — голову любимую, голову с взъерошенным пробором. И как хорошо рукой своей этот пробор пригладить, и как чудесно-смешно, что можно, полулежа, опираясь на локоть, разглядывать брови, губы и прикасаться к ним...

И как приятно пробежаться босиком по холодному полу в столовую, чтобы полусшепотом, но весело, радости своей не скрывая, сказать тетушке Гликерии, чтоб поставили самовар, чтоб посудой не стучали, не гремели, что Дима, Дима поздно заснул, что Дима, Дима...

И тетушку Гликерию поцеловать на ходу — и только на миг запнуться, только на миг потускнеть, когда вдруг тетя отзывает в сторону и говорит... Господи, о чем тут говорить! Раз нужно все эти камешки, все эти проклятые кольца, все эти нитки — матовые, янтарные, черные — куда-нибудь унести, припрятать — тем лучше. И не видать бы их, и не слышать о них, и не знать о них, — только тише, тише: Дима спит, он так поздно заснул.

И опять босиком к себе, и опять назад (тихонечко, тихонечко, чтоб не разбудить) к тетушке, с полными руками коробочек, футляров, пакетиков. И вот еще один сверток, и вот еще другой, и вот еще третий — и все тетке на колени.

И толстый живот каким-то чудом всасывается вовнутрь, уходит в неведомую глубину, в прорву, чтоб принять под широкие груди кольца, брошки, камни, связку иностранных ассигнаций, перетянутую резинкой.

Все ушло в живот; мокреет, в испарине сладкой, квашня белого пухлого теста, только кое-где проступают красные пятнышки, точно первые, еще смутные следы крови.

А в глазке глазок: на страже, по уговору, по сговору, по плану, и хохолок — не так, как в прежние дни — тверд, настойчив и упрям.

И, когда в радости легкой убегают босые ноги — точно на крыльях уносятся — в спальню, туда, где русый пробор так по-детски смят, — глаз отрывается от глазка: хохолок несется к Гликерии. И хохолок развеивается на ходу, и квашня со свертком

в руках лезет на старый прогнивший чердак, и скрипит лесенка ветхая, и карабкается следом хохолок, карабкается, не отстаёт — и соломенными ручонками роет ямку, а над хохолком две груди нависли, две гири.

И опять глаз к глазку. И две гири туда.

И бормотанье, и хлюп:

— Пусти...

— Спят.

— Оба?

— Оба. Убери свои титьки, они мне мешают.

— Дур... Голубчик, Илиодоружка... теперь скорее...

И следят, следят гири за тем, как выводит соломенная ручка:

«В Государственное Политическое Управление, вкратце именуемое Ге-Пе-У.

Считаю своим нравственным долгом и отнюдь не опасаясь репрессий, в силу своей сугубой благонадежности по отношению к законной власти, довести до сведения...»

С порога своего деревянного домика, откуда струится сонное, мирное и непотревоженное время, в девятый раз прокуковала кукушка — вещунья коричневая, — что идет и разворачивается день.

# ЧЕЛОВЕК ЗА БОРТОМ

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

**О**ТЗВОНИЛИ ко всеобщей у Бориса и Глеба.

— Дед, пи-и-ть!

— Родной мой! Да я...

— Не хочу такой. Кваску бы хлебного. Холодного, кислого.

— Хе-хе... Чего захотел! Хе-хе. Не брыкайся, пей. Мальчик мой, родной. Выжил, выжил. Еще немного — и на ноги станешь. Что, тиф проклятый, съел кукиш? То-то! На, выкуси!

— Дед, с кем это ты?

— Была тут дрянь одна. Я ее по шеям. Вот и отругиваюсь.

— Кто это? Кто?

— Тебе что? Шлялась тут баба одна. Вроде вши тифозной. Лежи, лежи спокойно.

— Д-е-д, а ты не якшайся с бабами. Воспользовался моей болезнью, никто не видит — замахал седой бородой...



— Остри, мальчик мой, остри над старым дураком. А старый дурак скачет от радости: выжил мой последний внучек.

— Дед, я ведь тебя по-настоящему люблю. Я хочу поцеловать тебя. Нагнись ко мне.

— Горя, Горя, мальчик мой!..

— Дед, второй месяц так?

— Третий.

— Третий? И все ты возился со мной?

— Да нет. Наташа помогала, Лида дежурила.

— Врешь, дед. Наташа в тюрьме. Вот... будто сквозь туман, но помню: за стеной голоса, стук... Ящики выдвигали, обои рвали — молодчики московские. Врешь, дед, врешь, старый.

— Ну... вру. Эх, ты, как банный лист.

— А Лида?

— Ты опять?.. Ладно, уехала. Ладно, лежи уж. Все скажу, только не смей подниматься. Уехала, второй месяц. Письмо оставила. Дам письмо, клянись тебе, дам, но не сегодня. Ни за что. Пожалуйста, слезай. Пожалуйста! Увидим, далеко ли уйдешь. Эх ты, огнево́й дурачок. Дам. Мальчик мой, мальчик мой, как тебя подвело!..

...Под маленьким, тоненьким сетчатым дождиком мокнет Арбат. Сито мелкое протянулось над всеми переулками его, в начале Пречистенского бульвара. Еще ниже пригнулся Николай Васильевич, и на кончике носа крючковатого все висит да висит капелька: одна упадет — другая набежит.

И у деда капельки на носу бегут. Хоть в комнате, хотя под крышей, а бегут: две-три падают, три-четыре набегают.

— Дед, больше не буду. Даю тебе честное слово. Буду лежать ангелочком, ручки сложу, ножки протяну, не пошевельнусь. Вот так.

— Опять обманешь.

— Поздравляю тебя, дед. Теперь ты вроде шишки. Племянница — комиссар. Ответственная работница. Россия может быть спокойна. У социалистической республики есть надежный защитник. Товарищ Лида выручит. Товарищ Лида...

— Ты обещал, ты честное слово дал...

— Лежать, дед, лежать. Но восторгаться можно? Теперь ты можешь быть спокоен. Можешь продолжать свою работу. Картин твоих не тронут, книг не отберут — есть рука.

— Мальчик мой, как тебе не...

— Молчи, дед: стыдно. Молчи, не буду больше.

И вдруг летит подушка, стремглав, вниз, и голова бритая мечется поверху.

— Дед, ради бога... Скажи правду, не лги. Дед, не смей меня обманывать. Приходили за мной? Приходили? И Лида. Протекцию оказала? Заступилась за прежнего любовника? Из-за нее не тронули? Дед, ради бога, отвечай!

К бритой, пламенем взбаламученной голове прижалась седая длинная борода; в седых волосах холодок мудрый — утихомирились горячие виски, брови разъяренные вновь улеглись.

— Верю тебе, дед.

— Не упрекай ее, мальчик мой.

— А, старческая кашлица: все бывает, Бен-Акиба.

— Ты злой, Горя.

— Я не упрекаю тебя, дед. Я аплодирую. Я радуюсь за Россию. Дед, ты академик, тебя вся Европа знает. В Италии, говорят, ты числишься почетным гражданином города одного. Я, дед... Я, дед, не знаю, почему Боттичелли выше Гвидо-Рени, но за Россию новую я восемнадцать лет жизни отдал. Со школьной скамьи в Сибирь. Дед, я любил женщин, новые страны, вино. Я часто падал, не раз спотыкался. Но служил я верно только революции. Вот она пришла — а я за бортом. Дед, а вот Лида... Дед, и она меня за борт. Все отбросила — меня, любовь свою.

— Ты не знаешь...

— Знаю, дед. Все кинула — и ушла без оглядки. И пойдет без оглядки, ни перед чем не остановится. Дед, присядь ближе... Вот так...

— Мальчик мой, мальчик мой...

— Тебя не стыжусь. Дед, как больно!..

Стучит да постукивает дождик арбатский, осенние скупые слезы размазывает по мутным стеклам — мутный вечер бредет, старенький; стук дождя — стук посошка — дорогу нащупывает, чтоб не сбиться со слепа.

— Дед!

— Спи, спи, родной.

— Не могу... Не уговаривай... Дед, а не думаешь ли ты, что она дальновиднее меня оказалась? Она полуженщина. Ты в счет не идешь. Ты не от мира

сего... Нашего, в крови, в мерзости. Ты — чудесный гробокопатель, ты за мизинец мраморный отдашь революции всего мира.

— Хе-хе... уж ты скажешь.

— Дальновиднее меня. Меня, извините за выражение, защитника угнетенных масс. Чутьем дальнее почувствовала. Душой увидела просвет. Мы... щурились, прищуривались, — не запачкать бы чистых одеяний. А она широко раскрыла глаза, не убоившись ни крови, ни грязи, ни навоза. Дед, дед, булка с маслом!

— Что? Что?

— Дед, белые булки — белые сдобные булки. Она к черному хлебу. С черным хлебом к дальнему граду. Мы с булками червям на съедение...

— Горя... Мальчик...

— Дед, дай мне булку. Дай мне белую булку. Дед, я российский интеллигент. Я не могу без булки. Я люблю «Русские ведомости» и белую булку. Осыпьте меня... Дед, скорее... Осыпьте меня белыми булками. Булку в зубы... Булку в руки. На знамени белая булка... Дед... черт вас возьми, булку мне! Своло... Булку. Булку. А-а-а!.. Бу-у-ул-ку!..

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Забесновался, завертелся, все шибче и шибче, вниз срываясь, потолок, падая отвесно, тараня стены, а за потолком помчался дед, за дедом Лида — летняя, давняя, в шляпке, повитой ромашкой, а за Лидой каравай черный, по краям обугленный, от каравая

усы длинные побежали — тараканище аршинный полез к кровати.

И навалился на Игоря ржаной тараканище, пудовый, грудь придавливая, — и поддалась грудь, и кровать рухнула, и стал Игорь падать, падать...

Падая, ухватился за один ус: хотя противно, а нужна зацепка; ухватился, а глянул: не ус, а дедушкина серебряная борода.

И вернулся потолок к месту своему назначенному, а за окнами уже горами лежали опавшие листья, и голый Пречистенский бульвар ждал новых белых мух.

По первопутку ехал к Брянскому вокзалу, ранним утром, таким безбурным и прозрачным, что сердцу больно становилось, дорогой такой чистой, белой, что ранила взор каждая колея от телеги — ненужная, лишняя, каждый досадливый след редкого прохожего.

Смоленский расстилался вольно, просторно: белая пустыня; по карнизам заколоченных магазинов прыгали воробьи; к распределителю на углу Плющихи ни шатко ни валко плелись платки, кацавейки, картузы, дремали трамвайные рельсы — дрема первых зимних дней, от дремы к долгому сну без звонков, без лязга буферов.

А позади — к низу, дальше — умирал Китайгород, цепенели Торговые ряды, никла Ильинка, монашенкой постной прежняя дебелая, румяная, крикливая грудастая бабеха, на Кузнецком снимали вывески — протянулись вдоль и поперек сизые полосы, точно в опустевшем барском доме сдирали обои

для будущего ремонта, летнего, на Лубянке фыркали по-звериному мотоциклетки, на Красной площади Минин-Сухорукий потрясал красным флагом — сухорукая, железная рука не дрожала, в Кремле стучали машинки, и стук каждой клавиши грохотом отдавался в Киеве, в Иркутске, в Берлине, в Париже, в Лондоне, в Токио.

На Тверской, на Балчуге, на Воздвиженке, на Коровьем валу белели декреты; один сменялся другим — мелькали, точно карты в колоде, тасовали их с утра до утра, беспрестанно, без передышки, бросая их вправо, влево, невозможно, непреложно — три карты, три карты...

— Ва-банк! — кривились в Киеве, ночью, в дымовом угаре Би-ба-бо, под цыганское пение, под звон шпор, под сладенькие речитативы Вертинского, бок о бок с хозяином крепким — лейтенантом фон Бельзе.

Плечо о плечо кокотки, члены Учредительного, профессора римского права, графиня без поместий, помещик без крестьян, австрийские агенты, сыщики в безукоризненных пластронах, журналисты из «Биржевки», пристав из варты, поэтесса-лесбийка, шулер из Одессы, поэт-гомосексуалист в оранжевом жилете, петлюровский соглядатай, вербовщик с Дона, предводители дворянства, иваново-вознесенские миткальщики.

— Ва-банк! — выплескивая шампанское, ипотечные, субсидии, лозунги, мальцевские, сормовские, девизы, десятины, заветы, мельницы, бриллианты любовниц, курульные кресла, жалованные

портсигары, коньяк, желчь, немецкие марки, австрийские кроны, опереточные карбованцы.

На Пресне, на Знаменке белели декреты — красные волны перекатывались по земному шару.

Из орбит вылезали глаза, вытягивались шеи, жадно высматривал, передергивались пальцы — вот-вот, осязая, чувствуя, — и глаза, и шеи, и пальцы все туда, все к Москве. И — от моря до моря грохотало:

— Го, го! Ставок больше нет!

— Бита! — ликовали в Париже, выходя на рассвете из кафе Риш, покачиваясь рессорно от токайского и достоверных сообщений из Москвы.

На rue Grenelle у письменных столов лихорадочно заготовляли бумаги с надлежащими ответственными всероссийскими подписями, улыбались заискивающе мсье... тому самому, который...

С черного крыльца забегали к депутатам, к оставшим министрам, к будущим министрам, к настоящим, интервьюировали генералов, консьержей, куплетистов из Монако, мозольных операторов.

— Бита! — подкупали рыжую без перекиси, знаменитую своими черными пучками волос под мышками Еву Мантуа из «Альгамбры» — любовницу все-сильного по пушечной части, обещали собольи меха, голубых лисиц законным супругам, полузаконным сожительницам передовиков, фельетонистов подносили футляры с содержимым морганатическим женам консервных фабрикантов, почтительно, но пока еще не теряя барского достоинства, поддерживали под руку биржевиков, маклеров.

На старых эмигрантских улочках, памятных еще с 1905 года, — на Глясьерках, на Газанах говорили о социализме, о поруганной свободе, плакали за мужичков и всеобщее равное тайное.

На Каланчевской, на Кудринской, на Моховой белели декреты — четырехугольные листочки, а в Киеве, в Чите, в Берлине кровью наливались глаза, красные круги плыли перед глазами, черные строки красным расплывались.

— Бита!

— Ва-банк!

— Бита!

— Будет бита!

А листочки из типографий комхоза, из типографий наркоматов тасовались, тасовались — и не уставала рука тасующего.

Следили с севера, с юга, всматривались с запада, с востока.

И от столицы к столице, через столицу к столице, торжествуя, ликуя, предвкушая, бухало:

— Ставок больше нет!

Мсье... тот самый, который... с грацией непревзойденного крупье бросает долгожданный точеный шарик...

Крутится, вертится... вертится, крутится. Чет-нечет, красное, черное.

И плыли пушки в Архангельск, танки переправлялись во Владивосток, доллары, инструкторы, пулеметы, презервативы, седла, франки, винтовки, коньяк, фунты перебрасывались в Крым, в Сибирь, на Волгу, в Тифлис, на Дон, на Кубань.



...По первопутку ехал к Брянскому вокзалу. Остался лед позади, борода мудрая, глаза добрые, цвета полинявшего старинного голубого шелка.

Перекрестил дед на дорогу; язычник, а перекрестил: последний внук.

— Мальчик мой... Вернешься?

— Не знаю, дед, не знаю. Смыло меня волной. А казалось, корабль надежный, верный. Дед, и круга спасательного у меня нет, и лодки не видать. Не спрашивай, дед.

А за бородой седой встала другая — белокурая, благообразная, нос, перехваченный очками. Очки не съезжают, солидно сидят, как солидно и веско рассуждает лоб земско-статистический, знающий досконально, сколько безлошадных в Самарской и сколько на хуторах в Симбирской.

Слегка отощал Корней Петрович, чуть ярче обычного тусклые глаза; когда снимает очки и протирает стеклянные завесы — будто огонек голодный шевелится, но оседлан нос — и по-прежнему ровен Корней Петрович и по-старому знает, куда надо путь держать.

С белокурым земским начетчиком разговор короткий, на ходу — пивной нет, из тех, из классических, когда под машину, под «Лучинушку» планы составлялись и, между прочим, о Боге. Планы остались, но разговор по-иному — на лестнице, между третьей и четвертой ступеньками.

— Не хочу. Ни поручений, ни директив. Ничего.

Между пятой и шестой ступеньками пытается Корней Петрович уговорить, на седьмой доказывает, что нужен Игорь на Украине дозарезу, что в Киеве

ждут его и не дождутся, на восьмой выписывает дислокацию, на девятой перебрасывает отряды, на десятой упрекает в измене прошлому, в расхлябанности, пробирается к трусости, к шкурничеству.

Но одиннадцатая ступенька скользкая — и падает Корней Петрович, твердокаменные очки превращаются в беспочвенные, несутся с переносицы. И ловит, и ловит их панически Корней Петрович, обомлев, вспоминая мигом, что конец частной торговле, что оптическим тоже каюк.

А поднялся со ступеньки — Игоря нет.

Свернул дислокацию, припрятал плацдарм, оглянулся, не следят ли, и пошел, не спеша, к Воздвиженке — за стеклами выпуклыми огонек голодный.

За Воздвиженкой, в переулочке, печати, бланки, адреса, последняя банка маринованных огурцов, огрызок головки сыра и Мальвина Сергеевна — бывший городской голова города Ахтырки, девица лет тридцати трех, с челкой, одинокая: ни любимого, ни ребенка, только томик Блока да список арестованных.

Там временно похоронили Игоря: Корней Петрович еще надеялся, что воскреснет, образумится; втихомолку всплакнул бывший городской голова, Корней Петрович готовил очередную тайную почту на Волгу.

...По первопутку ехал Игорь к Брянскому вокзалу, по белому московскому пустырю, точно плыл по морю безлюдному, по барашкам, по белым гребням.

И утро раннее было такое чистое, такое прозрачное, что сердцу становилось больно.

А за ним — к низу, дальше — умирала старая Москва.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Если твой правый глаз смущает тебя — вырви его, — надо вырвать, нужно, нужно забыть, что есть в Москве Большой Афанасьевский переулок, в глубине двора флигелек, в глубине флигелька постель, а в постели ушедшая в бред стриженная голова.

Все в глубине — все в глубину.

И только взглянув на губы упорные — ах, как умели целовать они, — упорные даже в смертный час, уйти навсегда, по дорожке, травой поросшей, к воротам, от ворот...

Поворот — и, ночами дни сменяя и днями ночи сменяя, знать, что не вольна ты над собой, не вольна вернуться, не вольна в любимые глаза поглядеть, гадая в час вечерний, гадая в час утренний, болью исходя неизбывной, открыты ли серые с зелеными точечками или подернулись ненарушимой пеленой.

Знать, что затрясутся, закачаются, опрокинутся все переулочки, все тупички московские (и Афанасьевский с флигельком в глубине), — и не сметь руку протянуть, ты, щепочка маленькая, в водоверть попавшая, водовертью уносимая.

Янек говорит:

— Я благословляю революцию.

Да-да, благословенно имя ее, каждый шаг ее, но как, как заставить сердце бедное, сердце женское замолчать!

Янек раз навсегда сжал кулаки, Янек знает, что надо убивать врагов, беспощадно давить их, как давят клопов, сметать с пути клопные шкурки, всю

нечисть, чтоб заново перепахать человеческую землю. Для Янека нет колебаний: тиха украинская ночь -- чушь, дребедень: украинское собачье болото -- и надо перевернуть его вверх дном, перекаたvasить, чтоб этому самому тихому небу жутко стало, уж коли пошла водOVERть -- так пусть бурлит всю -- несокрушимая, неумная. Да-да, чудесно имя твое, водOVERть великая, но как, но как заставить сердце в муке двойной, в двух изгибах раненное, застыть, замереть -- десять шагов от флигелька к воротам, десять раз упасть, десять раз подняться, и каждый раз, и на каждом шагу пыльную траву, вялую, дворика на Большом Афанасьевском, ожечь таким огнем глаз, рук, ног, словно не человек прошел от крыльца к воротам, а пламенный язык лизнул дорожку.

Хлопнула калитка, собачонка лениво хрипнула в соседнем дворе -- все в глубине, в глубине: флигелек, кровать, голова бритая, любовь, ночи совместные, -- плещется неукротимый вал по серо-пыльной Москве, перекаたvasяется по всем семи холмам -- (новый Рим, чумазый, кожаный) -- несется к заставам, к Семеновским, к Рогожским, к Даниловским.

Дальше, дальше -- по железным рельсам, по трактам, по лесным дорожкам, пригибая к земле тощие колосья, обдавая соломенные крыши -- извечные, станционные будки, широкие окна вокзалов, оплескивая овраги, буераки, села, закопченные депо, крутясь по мостам, обвиваясь вокруг балок, стропил, шаланд, добираясь к церковным крестам, стуча гребнем острым, колким о стены заводов, школ, фабрик,

банков, особняков, музеев, дворцов, публичных домов, крутясь, вздымаясь, свиваясь, расступаясь бездной, вставая горой — все дальше, все шире и глубже, кромсая, извергая, долбя, низвергая, сталкивая.

И знать, и знать, что не вольна ты над собой, не вольна вернуться, не вольна к желанным рукам прильнуть — ты, щепочка маленькая, в водOVERть попавшая, водOVERтью унесенная.

Вот и понеслась, вот и унеслась от калитки хлопнувшей. Платком стянуто лицо побледневшее, опавшее, полтавской мещаночкой пробирается на родину, втиснута в неразбериху плеч, спин, рук, бород, мешков, корзин...

Стонут буфера под грудой сапог, лаптей...

А поля-то все тянутся — измочаленные, сивые.

Шевелятся комки живые, иные вялые, как жуки навозные к вечеру, иные напористые, пружинистые: то сожмутся, то вдруг шириться начинают.

Над потным мясом, грязным, прелым, дым махорочный, запах рассола огуречного; на трехэтажных скамьях гирляндами вниз свисают голые пятки, облупленные, заскорузлые ногти вовнутрь завороченные, черные штанины, подолаы, порыжевшие голенница с отдушинами, а за окнами — дырами без стекол — проволочная вязь все вяжется да вяжется рукой европейской мастерицы.

Дребезжат манерки, чайники на веревочках, на ремешках; сверху желтыми оваликами летит шелуха тыквенных семян, осыпая плечи, кудлатые головы, очипки, картузы, фуражки внизу лежащих, внизу стоящих, сидящих — сдавленных, придавленных,

стиснутых, — посев русский, неуклонный, беспристрастный, с пузырьками слюны, с крапинками махорочных окурков.

Оттиснули от Янека, до Шелапугина не добраться, даже не видать, между какими шинелями и мешками, в каком месте пошел он ко дну досчатому. Но медвежьи плечи Янека и усы его старорежимно-фельдфебельские высятся над грядой черных, соломенно-рыжих, светло-пепельных и бурых голов, точно раскинулся столетний дуб на холме, поверх деревенских изб, овинов и ометов.

Когда подъезжали к Брянску, вынырнул Шелапугин — почерневший, с помутневшим взором; успел только проговорить, что надавили слишком — и стал оседать...

Янек зашевелил плечами, торчком встали фельдфебельские усы; в угрозе — сбоку, сзади, справа, слева — насторожились кулаки, дробней застучали чайники, фальцет запел сверху:

— А ты его, сукиного кацапа, по паспортной примете. — И два сапога под широчайшими галифе ринулись вниз на подмогу.

Завизжала, кудахтая, курносая баба, рядом сидящая насадкой над своими узелками; отозвалась припадочно вторая, третья...

По чужим спинам протаскивал Янек Шелапугина; выживая из мешанины Лиду, освобождал угол. Грохотали басы, заливался фальцет, но галифе уже обратно карабкались наверх, и на нет сходили насадки, ту же стягивая к подбородку платочки: складывая крылья.

Хрипя, скрючившись, лежал Шелапугин, моталась голова на коленях Лиды — вагон подпрыгивал, точно жалили его раскаленные рельсы, осы стальные.

— Янек, воды бы ему.

Пушистые усы стрельнули влево, вправо и обмякли в плену вспотевших, разбухших, друг на друга наползающих тел — упорных, напорных, звериных.

Шелапугин застонал; нагнувшись, Лида услышала детское, жалобное:

— Во-оды...

— Янек!

Янек багровел, покусывая кончики усов, Лида прикрыла глаза. А поля-то, поля-то все тянулись да тянулись — серые, изъеденные зноем, понурые.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

И заканчивал Корней Петрович свое письмо третьим постскриптумом (первый был об обращении к западным социалистам насчет нравственной поддержки, второй — о том, что в Совете Народных Комиссаров раскол окончательный и бесповоротный).

«Урезоньте его: ведь это удар в спину революции среди бела дня. Что он собирается делать — не знаю, для чего торчит в Киеве — неизвестно, но вопиющий факт налицо. Он должен понять, что в сегодняшней грозный час более, чем когда-либо, надо охранять великие святыне заветы прошлого, теснее, чем всегда, собираться вокруг нашего испытанного знамени. На нашу долю, на долю русской интеллигенции, пала тягчайшая, но священная обязанность

собирать все живое, собирать всю Россию, охранять всю культуру от варваров, достоинство России и цивилизации оберегать от разнузданных временщиков. Должен же он понять это. Должен же он понять, что на нас возлагает свои чаянья вся Европа и что уход каждого из нас с поля битвы есть измена всемирной демократии. История не простит ему бегства из рядов бойцов за мир всего мира».

Асаркисов, поглаживая ассирийскую бороду, молвил:

— Д-дда, номер.

Беатриса Ароновна сказала густым контральто:

— Конечно, не простит. — И, вздохнув, выжидательно глянула в сторону Кашенцева; вздыбясь на миг, голубая блузка вновь безмятежно почила на молочных холмах.

Кашенцев молчал, только шевелил желваками — по истерзанному, умученному лицу сходились и расходились коричневые пятна, похожие на пролежни.

— Кто видел его? — спросил Асаркисов и зевнул: четвертое заседание за день, впереди еще два, в девять третейское разбирательство — Маркусон обвиняет Семена Ивановича в тайных сношениях с петлюровцами; еще надо расспросить Кашенцева о результатах его поездки в Одессу — одесские здорово берут вправо, надо их обуздать; из Самары ни звука, комнаты все еще нет, сегодня придется опять ночевать в передней питерского газетчика. — Так кто же видел его?

Восточный облик темнел в раздражении.

— Я, — робко сказал Рыжик.



Беатриса Ароновна, негодуя, повела черными усиками — снова всколыхнулась голубая блузка, уже бурно, грозиво:

— И вы молчали? Это возмутительно! Я предлагаю выразить Рыжику порицание. И вы не могли привести его сюда?

Рыжик обернулся к ней:

— На веревке? А если он говорит, что всем нам цена грош? А если он говорит, что мы слепые и... и... что надо нам всем по домам, каждому на свою полочку.

Под Кашенцевым затрещала табуретка; беспокойные, в табачной желтизне, пальцы пытались свернуть папиросу; стукнув, выскользнув из рук, упала табачница — жестяная коробочка из-под лепешек Вальда.

— Ах! — вздрогнула Беатриса Ароновна и поднялась: из магазина щеткой в потолок стучала девушка Ганка — два гимназиста спрашивали очередной бюллетень.

В конце винтовой лестницы Кашенцев остановил Рыжика:

— Устройте мне с ним свидание. Скажите...

Задвигались пролежни, в ворота ситцевой косоворотки, еще в копоти паровозной, судорожно дернулась жилистая, обтянутая, пергаментная шея:

— Скажите ему, что мне необходимо... Нам нужно повидаться. Сегодня же.

Рыжик качнул головой — будто красный поплавок дернули снизу. И поплыл поплавок по киевской хляби, нырял по Крещатику, потерялся на площади,

вынырнул на Малой Житомирской. — Игорь отка-  
зался встретиться с Кашенцевым.

В кофейной тапер выколачивал марши, мазурки, за столиками копеечными блестками рассыпался женский смех, купленный до зари, на всю ночь за несколько карбованцев, усы заглядывали в вырезы блузок, сапог отдавливал туфли, к окнам с улицы прилипали расплющено носы мальчишек-папиросников; на помост, похожий на плаху, взбиралась, потряхивая монистом, вздувая расшитые рукава, толстозадая пейзажка; ей кричали вслед:

— Яблочко!

— Красотки кабаре!

— Яблочко!

Пейзанка дожевывала булку, тапер ловил педали, лакеи, нашептывая, подавали белый чай, как старые кошки шипели газовые рожки.

Кашенцев допивал третий стакан кофе. Игорь не шел, а губы были сухи по-прежнему.

Горели, как горела голова вчера, третьего дня, неделю назад, месяц, палимая ворохом мыслей — грудой раскаленных углей, неугасимых даже под пеплом сна, дремы и усталости,

Никнет голова, изнутри сжигаемая беспрестанно — тут, там, на скамье вагона, за председательским столом, в походной палатке начальника чешского отряда, в каюте волжского парохода. Из часа в час и изо дня в день — принимая во внимание... всех, всех — безземельных, чехов, малоземельных, юнкеров, рабочих, академиков... считая, что... близка расплата... За что, за что? Будут сведены счета — с кем, с кем?

Как в листопад, вьются, несутся осенними листьями, последними, люди, города, совещания, полки, заседания, лазутчики, фракции, телеграммы, винтовки, уполномоченные... с востока на север, с севера на восток — кутерьма адовая...

Ох, как жгут угли, и нечем залить их! Багряный листопад, словно кровью политый, — кровавая полоса от берега волжского к Москве... В чем правда твоя, Москва?

Где правда моя, кашенцевская, купленная не дешево?

Где правда единая? Ох, жгут, жгут угли, и не затоптать их и не выкинуть, прахом развеяв по ветру...

И губы были сухи по-прежнему... как вот сохнет душа, — проклятая, хоть бы высохла раз навсегда, хоть бы раз навсегда перестала то ныть, будто раздираемая сотнями колючек придорожных кустарников — одна дорога за другой, все дороги да дороги, а глянешь: бездорожье, безысходный тупик, — то сжиматься, как вот сжимаются игрушечные шары, воздух выпуская, когда продырявишь их, цветные шары — цветные... трехцветные флаги российской державы... красные флаги над Кремлем... смешались краски, цвета, в пору захлебнуться душе человеческой смесью огневой — горит, горит душа... Где правда твоя, Москва? В чем правда моя, кашенцевская — разбросанная, раскиданная? Все смешалось и убегает из-под ног, убегает тоненькой веревочкой одна последняя, такая незаметная дорожка... ох, жгут, жгут угли — лови!..

Мучительно стиснув зубы, Кашенцев мял потухший окурок; с помоста несло:

...Яблочко, яблочко, куда котишься?

В Чеку попадешь — не воротишься...

На пейзажке звенели бусы; чавкали рты; по напудренным женским подбородкам стекал жидкий крем пирожных.

Кашенцев ждал до одиннадцати. В двенадцать часов в комитете заслушивали экстренный доклад только что приехавшего товарища с Волги.

Самарский товарищ мимоходом докладывал о заколоченных московских лавках, о двадцати двух разрешениях на получение подтяжек, о брожении в Красной Армии, о дохлых лошадях на углу Кузнецкого моста, о библиотеках, идущих на отопление казарм, о комиссарских автомобилях, о подвалах на Лубянке.

— Мы это знаем, — прервал его вдруг Кашенцев, сдавленно, с хрипотой. — К делу!

— *Voilà!* — сказал докладчик, жительствовавший в 1909 году в Париже, и слегка обиделся.

Во втором часу ночи было постановлено, что для развития намеченного плана в Москву должен направиться член комитета.

Асаркисов, сонно пропуская сквозь пальцы ассирийские завитушки, предложил Кашенцева.

Беатриса Ароновна высоко занесла руку:

— Я за Кашенцева. — И вбок бархатно пропела Кашенцеву: — Я вас от души приветствую.

Самарский гость, чиркнув в записной книжке, перешел ко второй части доклада:

— Итак, в сознании всей важности момента, мы на съезде полностью выявили непреклонную волю всего крестьянства, широких рабочих масс и...

Кашенцев нагнулся к Беатрисе Ароновне:

— Где вода?

Беатриса Ароновна качнулась испуганно:

— Где беда? Где?

Кашенцев усмехнулся:

— Не беда. Вода где? Душно, пить хочется. Вниз, да? — И продолжая усмехаться, тихонько пробирался к выходу.

Завизжала винтовая лестница; в магазине по книжным полкам шуршали мыши, в прорезе ставни пробивалась острая полоска уличного фонаря, точно сабельный клинок, сверкая, надвое рассекал сумеречную завесу.

Сбоку от лестницы Кашенцев присел на полуразвороченный тюк, пощупал — брошюрки, садясь, вытащил одну, на острие полоски разобрал: «Учредительное Собрание — хозяин земли русской», уронил книжку; сдуру ткнулся в ноги потревоженный мышонок; пахло клеем. Отводя голову в сторону, Кашенцев полез в карман и, раздирая высохшие, жаждающие губы, сунул револьвер в рот.

Наверху самарский уполномоченный заканчивал доклад:

— ...И на пути нашем мы не сворачивали и не свернем знамени своего, полученного нами, подлинными наследниками, из холодеющих рук великих наших...

## ГЛАВА ПЯТАЯ

По украинским полям отскрипели возы. Золотое зерно по верным, стойким, налаженным дорогам, в вагонах надежных, за семью печатями, уплывало за Рейн — золотым дождем обливая Кенигсберг, Лейпциг, Берлин — туда, где утро — утро, полицейский пост — полицейский пост, подданные — подданные. Металлоустойчивые каски не смотрели ни вправо, ни влево и, охраняя вагоны, маршруты, глядели только прямо:

— Dahin!

В леса, за Днепр уходили, убегали из деревень, с хуторов одиночки, десятки, сотни; дымились подожженные избы, курились стога; под короткими тесачами, добротными, немецкими, падали, визжа, жирные поросята; в сенях, в амбарах женщины, царапаясь, кусаясь, отбивались от курток с крестами за доблесть.

На сахарных заводах секли непокорных, мятежных; воя в ночь, в тишь, в безлюдь, поднимались с земли изнасилованные девушки; в Киеве, от Липок, заворачивая к Крещатику, лихо гарцевали оперные личные конвойные украинского гетмана; в городской думе говорили о социализме.

Мимо опустошенных мазанок солдаты вели лошадей; с отпускными — домой, dahin — отъезжали чемоданы, набитые до отказа рукодельными ширинками, головками сахара, свертками хрома, вышивками по полотну, под мостами, у околиц, на опушках валялись трупы, слеталось воронье; на свекловичных

полях густо поливалась земля человеческим потом, на Крещатике со всех углов каскадом типографских красок изливались афиши о лекции известного петербургского литератора на тему: «Женщина — королева, мужчина — бык, что такое любовь?» — на Подоле втихомолку избивали евреев бородатых и евреев бритых, обер-лейтенант Фостер, австриец, похожий на графа Эстергази, тонкостанный, душистый, угощал русских журналистов отменными сигарами, превосходным ароматным ромом и составлял смету для независимой демократической русской газеты.

Молча, раз навсегда потемнев, следил Игорь за бегом дней, событий: на рассвете уходил, на рассвете приходил; точно покорный толпе, он плыл вместе с нею — плескалась мутная река, но уже глухо, временами трещала плотина. И треск ее, близкую угрозу, слышал Игорь — странник без пути, путник без дороги.

И он искал — и треск, и поиски были слиты в душе опустошенной, но насторожившейся.

Так, во тьме срываясь в пропасть, зная, что нет спасения, все ж уносишь с собой в небытие память о звезде утренней.

По утрам с заборов, со столбов срывали большевистские прокламации, но они снова появлялись, немедленно, неуклонно, в заводах и в мастерских стучали не только железные молотки, и не только в горнах вспыхивали искры; казармы охранялись тройной цепью.

У дверей кабаков, паштетных, гулко, переливчато, с южной отвагой, с северной медлительностью

торговали романовскими, думскими, керенками; перелистывались шибко ассигнации, словно календари для справок, — мелькали Екатерины, Петры, двуглавые, но без скипетра и державы демократически оскопленные орлы; пели румыны, греки; кокаин и предохранительные средства, патентованные, заграничные, продавали непоющие евреи и неизвестной национальности молодые люди, похожие на безработных крупье; писатель Борский, любимец питерских модисток, знаток женской души и неразделенной страсти, народник, когда-то пострадавший, в мундире полковника варты, красным карандашом рыскал по газетным гранкам.

То тут, то там показывались оселедцы, алели жупаны, — пока что сечевики охотились на Подоле. В кабаре, в шантанах, в ресторанах, на банкетах, на юбилеях пили за Николая Николаевича, за Учредительное Собрание, за Веру Холодную, за монархию, за вольную Украину, за Дмитрия Павловича, за свободную русскую печать.

Пили скопом, в одиночку, по подписке, по случаю, в будни, без случаев, в праздники, пили за единую и неделимую Русь, за немецких охранителей, за московские калачи, за сенегальские полки, вот-вот идущие на Украину, за Запорожскую Сечь, за встречи в Питере у «Медведя», за встречи в Москве в «Славянском базаре», за Российские Соединенные Штаты, за патриарха всея Руси, за бабушку русской революции, за Государственную Думу, за Марию Федоровну, за цыганку Стешу.



Горели деревни, угонялся скот, полновесное русское зерно по твердо налаженным дорогам, где вежи — каски остроконечные, металлостойкие, плыло, уплывало за Рейн.

В Липках замирали часовые у дверей германского дворца; бывший немецкий шпион, уличенный охранник, журналист Дошко, в своей газете собирал вокруг себя живые творческие силы на борьбу с московскими насильниками, — летели пятизначные авансы; офицерские отряды пробирались на Дон; в «Союзе вольных страстей» отдавались гимназистки за ужин, за щепотку кокаина, на Крещатике вербовали добровольцев; из кафе в кафе переходили покрашенные сборщицы в пользу Добровольческой армии, и толстые пальцы в кольцах выбрасывали хмуро мелкие ассигнации, похожие на пивные ярлыки.

Играла музыка — денно, ночью; лакеями нанимались безработные поручики и прапорщики; генералы на отдыхе метали банк; в ночь, в темень на ремешке узком казенном, на полотенце жгутом вешался юноша-юнкер, пройдя все мытарства, у освещенного «Би-ба-бо», прокляв путь крестный, непосильный.

На окраинах ловили и московских агитаторов — говорили о тысячах; тюрьма пухла, но воззвания и призывы не сходили со стен.

И в эти дни был Игорь один: в толпе, но одинок; несомый волной, но не видя берегов — ни дальнего, ни ближнего.

По украинским полям отскрипели возы: уходили груженные поезда — червяки гигантские — вдаль, dahin, за Рейн...

В «Эстетическом клубе», в среду, спозаранку сдвигались столы. Перекати-полем перекатывался из комнаты в комнату дежурный старшина — художник-маринист («Море при закате», «Море в лунную ночь», «Море на рассвете»), тридцать лет сиднем просидевший в городе, дальше Днепра вовек не ступивший ногой.

Маринист волновался: какой денек выпал в дежурство, шутка ли! Безволосый, круглощекий, похожий на деревянную кустарную матрешку, он заливался тоненьким дискантом, командуя, распределяя, топя ножками-чурбашками, мальчишку из буфетной за третьим воротничком домой посылал — по крахмалу пот струился; по манишке, вдоль гофрированных складок, точно по желобкам, стекали соусы, подливки — пробные, для хозяйской уверенности, что буфетчик не подгадит. В бильярдной поэт-гражданин Оскар Днепровский, полулежа на бильярде, присюсюкивая (монпасишки сосал, для голоса), заучивал приветственное стихотворение-экспромт:

В тот час, когда Кремля святыни  
Под подлою рукой взывают к небесам,  
Ты, светоч наш...

— и на женских рифмах исступленно отталкивал от себя шары.

Падала, рассыпалась пирамидка, тонко стучали шары, на кухне отзывались мясорубки, адвокатские жены инструктировали лакеев.

Одергивая на себе фраки, у дверей зала дежурили Моня и Доня Зильберцвайги — распорядители;

Моня — повыше, Доня — пониже, оба брюнеты, оба с проборами; Моня — кадет, Доня — из группы «Единство»; Моня в голубых носках и черных лаковых открытых туфлях, Доня — в темно-коричневых носках и серых замшевых полуботинках, но оба помощники присяжного поверенного.

Из магазинов посыльные несли цветы. Качались туберозы, рдели гвоздики, декадентски изгибались лилии.

Раскрасневшись от волнения, ходьбы и патриотизма, примчалась на высоких каблучках Ниночка Маркузова, — на Васильевском острове, в 1914 году, на 9-й линии, голенькой изображала Сафо и кружила головы бестужевкам, — принесла лавровый венок, самоотверженно исколов все пальчики.

Маринист унес лавровый венок к своему прибору и прикрыл его салфеткой.

Доня осмотрел цветы и сказал, что следовало бы красных гвоздик побольше, вообще красного побольше, Моня пренебрежительно выставил нижнюю губу и сказал, что, наоборот, слишком много красных цветов, что Аркадий Аполлонович не выносит красного, и если Доне угодно в сегодняшней исторический час вносить партийность, то он, Моня Зильберцвайг, отказывается нести обязанности распорядителя, снимает с себя перед лицом всей России всякую ответственность и...

Внизу загрохотали двери, загудел автомобиль, зацокали копыта, задребезжали пролетки.

Стрекозой летела по лестнице Ниночка Маркузова, стрекотали французские каблучки:

— Едут!

Моня и Доня головокружительно ринулись вниз.

Первым подхватил Аркадия Аполлоновича под руки Моня; Доне достались портфель, связка книг и супруга.

Доклад о том, быть ли России и какой, кончился. К одиннадцати часам был подведен точный итог, указаны пути, сметены все препятствия — теперь демократии предстояло чувствовать докладчика.

К освещенному подъезду подъезжали профессора, сенаторы, промышленники, члены Государственного Совета, думские ораторы, всероссийские адвокаты, солисты его величества, левеющие полковники, редакторы, банкиры, демократические графы, балерины, князя из оппозиции, заводчики.

Пешим трактом шли журналисты второго ранга, люди бездеятельных профессий, летчики, репортеры, карикатуристы из «Сатирикона», актеры, поэты-мистики, адвокаты попроче и зубные врачи.

Улыбаясь направо и налево, проплыла лебедем белым, реставрированным, знаменитое сопрано из Мариинского, окруженная неизменными мальчиками; мальчики (в возрасте от 16-ти до 24-х) тоже кланялись и тоже улыбались направо и налево.

Выпрастывая на ходу длинную гусиную шею, поматывая узеньким галстуком, стянутым веревочкой, шел, шурясь, уже с утра пьяный, театральный критик, эстет и анархистствующий славянофил Терентий Нилов, и уже острил, и уже облюбовывал себе жертву, и уже в окружности его пахло скандальчиком.

Распахнулись двери, — показался Аркадий Аполлонович, ведомый слева князем Кундуковым, справа — сахарозаводчиком Зусиным.

Грянуло «ура», оркестр заиграл «Коль славен», из задних рядов крикнули:

— Марсельезу!

Зашикали сбоку, возмущенно передернул плечами князь Кундуков, Моня побледнел, нагибаясь к Аркадию Аполлоновичу, что-то растерянно зашептал председатель банкета.

Аркадий Аполлонович снисходительно улыбался.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

В небе висел, полыхая, чудовищный шар; горели леса, сохли травы, трещинами исходила земля.

В хуторе Михайловском, в пыли, у заборов, вдоль куч щебня на шоссе, в вокзальных клетушках лежали, бродили бесцельно питерцы, москвичи, тверчане, все ставшие мигом украинцами, все уроженцы Киева, Полтавы, Сум, Кременчуга.

Ежедневно брянский поезд все подбрасывал да подбрасывал новых паломников к новым святым местам — к бело-хлебным городам.

Саранчой припадали паломники к лоткам, — шло богослужение, истовое, с подъемом, непрерывное — в чавканьи, в мельканьи челюстей. Валялись чемоданы, баулы; на баулах копошились дети, на чемоданах восседали старухи, няньки прижимали к себе ребят, отцы ловили начальство, дамы млели от жары, от жажды; пыль пудрила смятые прически, расха-

живали немецкие солдаты, поигрывая хлыстиками, изредка со стороны Глухова бухали пушки: немцы отстреливались от партизан.

Утром привезли двух убитых солдат, одного раненого офицера. Поутру же из баулов, из корзин полетели на дорогу, на щебень, на траву призаборную кружевные панталоны, цибики чая, свечи, накладки, брюки, манжеты, кружки Эсмарха — к перрону приближался состав, разворачивался обыск.

Немцы кричали о русских свиньях, гнали с вокзала; четырехугольный вахмистр, повалив кулаком хромого московского пианиста, не отковылявшего вовремя, сапогом подбрасывал его к выходу. Истерически кричала по-русски барышня в розовом:

— Не смей! Не смей! — прыгали розовые оборки...

Стреляя в воздух, солдаты гнали пассажиров к поляне за мостиком. Волочились одеяла, портпледы; падая, спотыкаясь, задыхаясь, крича, ловя детей, таща старух, взваливая себе на плечи корзины, толстопузые чемоданы, бежали, мчались, неслись питерцы, москвичи.

Из кульков, из бумажных свертков летели булки, зубные щетки, туфли; по земле катились-перекатывались дыни, арбузы, яйца и детские мячики.

Янек перемахнул через канаву, Лиде протянул руку; набежавший немец замахнулся прикладом, Янек вытянулся во весь рост — и отбежал, немец только плюнул. Через час гнали всех обратно — к тому же вокзалу; пыхтел паровоз, вагоны ждали. Равнодушно взглянул немецкий офицер на полтавскую мещаночку, проверяя документы; по-украински

залопотал переводчик с Янеком, Янек пушил усы — казак-казак! — переводчик похохатывал, но паспорт Шелапугина офицер отложил в сторону:

— Zurück!

В селе, на полу под иконой, лежал Шелапугин: хрипело в груди, почерневшие губы отмирали — наваливались разопревшие спины, набухшие мешки, словно чугунные бочки, в ушах безумолчно гудели буфера, и по ногам скользили колеса — колесо за колесом, огненный обруч за огненным обручем, обжигая, перемалывая кости.

Водой обмывала Лида черные губы, — не поддавалась чернота, словно смола прилипчивая; Янек мерил комнату, жужжали мухи, проревел, уходя в Конотоп, пассажирский. Вечерело. На гармошке заиграл под окном рябой паренек, раз-другой ахнула пушка.

— Янек! — позвала Лида.

Широкая ладонь легла на поникшие плечи — огромная, будто не человеческая, допотопная, а мягко легла, словно пушинка летним вечером.

— Янек, следующий поезд только в четверг, да, Янек? Мы опоздаем. А доктора нет. Немецкий не придет. Он бредит, Янек. Слышите?

До сумерек, оберегая, будто успокаивая, не сползала ладонь. В сумерки Янек сказал:

— Не возвращаться же. Выкрутимся.

В сумерки ушел Янек, растворился за избами; на мгновение очнулся Шелапугин:

— Станция? — И снова уполз к мешкам, к шинелям, под колеса.

Лида смачивала черные губы и видела другие — с Большого Афанасьевского; два бреда — один тут, другой за тысячу верст, — второго никогда не забыть, а надо, как вот надо сейчас во что бы то ни стало успокоить, утихомирить развороченную, искромсанную грудь.

Ночью вернулся Янек.

Ночью зашептались двое, а третий шептал свое под иконой, свое о своем: о мешках, о рельсах...

— Можем и наткнуться, Лида. И неведомо, кто скорее пристрелит: те или немцы.

— Я еду, Янек.

— Вздор. Я проберусь с ним. Потом вы пассажирским. Встретимся в Конотопе.

— Ни за что. Вместе выехали, вместе поедем.

— Вместе умрем?

— Да. Я еду, Янек.

— Лирика. Надо здраво рассуждать. Оставьте поэзию. Не наше это дело. Я управлюсь сам. По больше сена в телегу — и довезу его.

— Знаю. Я еду.

— И для тех, и для других женщина находка.

— Не надо меня пугать, Янек.

— Я только указываю. Да и подведете нас.

— Если так, то...

— Эх, вы, да я не так выразился. Ладно...

— Я не подведу. Янек. Я буду... Янек, зовите вашего контрабандиста. Только так, Янек, — вместе к жизни, вместе к смерти. Только так, Янек: вместе на большое, вместе на маленькое. Иначе... Янек. Это не лирика, право. Иначе не стоит жить!..



Ночью на опушке пофыркивают кони: в темень, в путь темный, от села, от колеи налаженной в сторону, по кочкам тарахтит телега; закуривает папиросу контрабандист Мойшка-Квач, другой на передке одергивает:

— Адиот! Туши!

Дребезжит телега, по лицу бьют ветки, пахнет перегноем, вьется ночная сырость. Шелапугин укутан сеном: опять голова его в руках Лиды — тянется путь беспросветный, будто никогда, никогда ему не будет ни конца, ни краю.

Мойшка-Квач сует револьвер Янеку, шепчет ему на ухо:

— Halt, сиди возле дамочки. На, halt, еще один.

И чувствует Янек, как пробирается к нему, на ощупь, рука Лиды — и на маленькие пальчики, ждущие, кладет Янек тяжелый стальной коробок.

И — взлетом с места, вскачь, наперерез, от костра, выросшего вдруг словно из-под корневищ, от гика, от дыма, от пуль...

Рассвет... шоссейная дорога, предутренне розовеют облака, кричит коростель вдаль, сочится хмельно-горько и сладко полынь, Мойшка-Квач закуривает беспрепятственно толстую, как ружейная гильза, папиросу.

— Молодец Лида! — бормочет Янек и грузно уходит в ворох сена напористым лбом, растрепанными усами: спать, спать!..

Молчит Шелапугин, спит; землистые щеки неподвижны, но как будто ровно дыхание — и, покачиваясь, дремлет Лида и слышит сквозь дрему, как напе-

вает Мойшка-Квач тягуче, заунывно песенку, полурусскую, полуеврейскую, о красных солдатах, о белых генералах.

И так же заунывно шелестят кладбищенские березы в Конотопе над свежей могилой Шелапугина.

— Янек, Янек, я ведь даже не знаю, как по-настоящему звали его.

— Все равно, друг милый. Все равно. Не имени-тыми пришли — безымянными умираем.

Ночью плакала: одна была, никто не видит. И ночью сказала вслух — никто не слышит:

— Игорь...

И еще раз:

— Игорь...

Поутру сняла платок, переделалась — новые бу-маги, новое обличье, новое имя.

Конотоп вяз в грязи; в Конотопе осталась полтав-ская мешаночка. Усы Янека мальчишка в парикма-херской сгреб веником. Сухо поблескивающие рель-сы побежали к Киеву, втянутые в воронку водoverти.

— Прощайте, Янек.

— Увидимся, скоро. Вы — молодец, из хорошего теста. Только поменьше лирики. Сейчас надо ненави-деть лирику. Поняли: надо презирать ее. Вяжет она. Да, я груб и буду грубым. Коросту паршивую не сни-мают надушенными руками — ее срывают. Вот так.

И прямо пошел по перрону — широкоплечий, будто и толстый, но весь собранный: все пригнано к месту, все винтики смазаны.

И опять понесла водoverть: с Васильковской в Харьков на Бассейную подругой балбачанского

сотника, в шляпке с шестивершковыми перьями — алыми губами улыбаться пьяным прапорам в вагоне полуискалеченного микста, а бегут, бегут по сторонам те же блеклые поля, как тогда, как в тот день, когда вытаскивал Янек Шелапугина из-под распластанных туш.

Несутся дни, вечера, ночи, несут к черным шахтам, к углекопам — в черных шахтах не тухнут красные огни, натянуты красные паруса, только ждут ветра попутного, чтоб по каменноугольным пластам, по черному морю ринуться к заветным, памятным берегам — к светлым, к манящим.

Ночи, вечера, дни бегут, как мелькают лица, явки, адреса; бегут, сталкивая минуты, часы, типографию в погребе местечкового раввина сменяя комнатухой в Белой Церкви, где патроны упакованы в ящики с надписью: «Осторожно, стекло».

Осторожно, стекло! — и, подчинив себе слезы свои, улыбку свою, уходит, приходит, появляться, исчезать...

Шумели березы на конотопском кладбище — отшумели последними осёнными листьями каштаны на Бибиковском бульваре, опали паутиновые корешки, к вечеру серебрятся инеем, за Днестром зима наготове, переправы ждет, а теперь в Москве, на Пречистенском, уже сугробы в гору, и во флигеле на Большом Афанасьевском... — нет никакого флигеля... умирают тысячами люди — умирают и флигели...

— Дом номер... третий от Бессарабки. Тут.

Янека не узнать: разодет, барин, бородку отпустил, усы коротко подстрижены, но за три месяца посерел здорово, подался, чуть дряблы настойчивые губы и даже порой вкривь ползут, чего раньше никогда не бывало.

Будто рад Лиде по-старому, но часто хмурится — и ползут вкривь, вкось усталые губы.

Устало говорит Янек, проводя ладонью по визитке:

— Завтра все это барахло скину. Еду в Москву.

— В Москву? — рванулась было и застыла. — Вот как. — И стала шубку застегивать, торопливо, торопливо, пуговицами в петельки не попадая, — панцырек, но такой, такой ненадежный!

— Сегодня я вас сведу с Сизовым. Не выпускайте его из рук. Надо всю его затею обернуть по-нашему. Парень он горячий, а вы его от поры до времени водицей. Придется вам повозиться.

Рубит Янек как всегда — не перебить его, не узнать, не заикнуться.

— Условился через Анну Павловну: встретимся в саду. Аннет, говорит, неконспиративно. Надо в шумном месте. Вот, говорит, в «Эстетическом клубе» банкет сегодня. Фокусник, не может без штук. Говорит, цвет российской интеллигенции соберется. Демократия, говорит, пировать будет, а мы о бомбочках. Это, говорит, красиво. Чудило романтическое. Этакая отрывка субъективного метода. Но надо идти. Ничего не поделаешь. Нужен он дозарезу. Хавкин передавал, что не сегодня-завтра вся эта братия...

В Москву... В Москву... Теперь на Пречистенском снег скрипит и на Большом Афанась...

— Вы что, слушаете меня?

— Конечно, Янек, конечно. Я слушаю, слушаю.

Шубка застегнута, на все пуговицы.

— Будьте там в двенадцать.

— Хорошо, Янек.

— Я вас встречу у входа.

— Хорошо, Янек.

Янек встает, — вот уйдет сейчас, на банкете не перекинуться о своем, утром двинется на север и...

— Янек!

— Ну!..

— Ничего, Янек. До вечера. Я управлюсь с Сизовым, не бойтесь. — И улыбнулась.

Янек знает: надо ненавидеть лирику, умирают тысячи Шелапугиных, сдирая коросту, на полях, на дорогах, в боях, под кустами — осторожно, стекло! — и надо, и надо все подчинить одному: губы свои, и слезы свои, и маленькую, маленькую свою жизнь — и уходить, приходиться, появляться, исчезать.

И ушла — в который раз, доколе? За поворотом, на Крещатике, вспыхнули электрические шары, попарно прохаживались твердокаменные немецкие солдаты — шаги были отчетливы, размеренны, точно издали подчинялись барабанному счетчику, — в паштетных пиликали румынско-еврейские скрипки; по углам группками стояли молодые люди в кепках, в гетрах, не то сутенеры, не то авиаторы; еврейских торговков в разнос, продрогших, с сосульками под носом, вартовой гнал прочь; заняв полтротуара, победоносно выступал оселедец, презрев холод — колыхались концы широченного кушака, и сизели

независимые, точно водянойкой раздутые, шаровары. Мальчишки продавали газеты с именами вновь расстрелянных в Москве, с первыми телеграммами о беспорядках в Германии.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Повертев лавровый венок, Аркадий Аполлонович передал его супруге; маринист отдувался: легче девятый вал изображать — тряпичкой висел четвертый воротничок. Лавровый венок снова притаился под салфеткой: он кололся и нервировал профессоршу. В пятнадцатый раз зазвенела серебряная ложечка о председательский бокал:

— Дззиннь, дззиннь! — из-за стола поднимался Доня Зильберцвайг.

— За щуками плывут карасики, — громко проговорил Терентий Нилов и покачнулся. Рядом цыкнули; Терентий Нилов тянулся к соседнему столику, уже саркастически гримасничал рот:

— Кто цыкнул? Кто смел цыкнуть?

— Потише, я вас умоляю, — просила Ниночка Маркузова, пытаясь усадить его.

Нилов приложился к ручке:

— Хорошо, Нинет. Пусть цыкает жалкая бездарь. Но ты придешь?

— Тише, дайте слушать. Приду.

— И... Нинет... Со всеми фокусами?

— Ладно. Да замолчите же.

— Pardou, вы это кому? Нинет, и все штучки покажешь? Все способы?

— И от имени здоровой социалистической мысли, не кидающейся безрассудно в темные провалы утопических бессмысленных мечтаний, позвольте мне, дорогой глубокоуважаемый Аркадий Аполлонович, в этот исторический час общего фронта прогресса и ума, собирания всего культурного и честного в России протянуть вам руку.

Отпрянули стулья, чужфыкали столики, тиликали рюмочки — все вставали: Аркадий Аполлонович целовал Доню.

— Горько! — крикнул Терентий Нилов и взмыл тарелку — золотой ободок заплясал перед бездной, Ниночка Маркузова от злобы хрустнула пальчиками, маринист, срываясь с места, бежал на подмогу пожарным — тушить опасный участок, но уже выплывала из дверей благоухающая двухаршинная стерлядь, умиротворяя, сея порядок, благочиние; от сверкающего блюда, похожего на ладью — от сосуда светозарного, лились благословляющие лучи; под лучами набожно сникли головы, плечи, прически, проборы; пронесся молитвенный шелест салфеток. Поэт-мистик (номер первый), получив свою порцию, прикрыл ее ладонями, откинулся на спинку стула и к потолку вознес экстатически млеющие глаза; на воротник, густо осыпанный перхотью, упали жиденские великопостные белокурые косички; исусистая борода заколыхалась в трансе:

— Стерлядь!.. Русская стерлядь!.. Я вижу... Я вижу...

— Слушайте!

— Слушайте!

— Будьте любезны, вот эту бутылочку.

— Ради бога, пожалуйста.

— Слушайте! Тише!..

— Я вижу русские реки... Воды чистые... водоемы благостные. Я вижу смиренных рыбаков... В смирении сила твоя, Русь, неопалимая купина моя... Я слышу благовест вечерний... Плещутся волны речные — голубицы ясные... Странник седенький, из ковшика маленького, берестяного, кропит поля твои, благословляет руки твои... И подплывают в радости рыбы светлые, и из гнезд своих вылетают птицы ласковые. Я вижу...

— Анна, как это прекрасно!

— Лиза, надо пригласить его к нам.

— Слушайте!

— Слушайте!

— Я вижу...

Вторично умирала стерлядь, в растерзанном хвосте одиноко торчала забытая вилка.

После рябчиков пили за профессию, за московскую *alma mater*, за питерскую, за казанскую.

— Выпьем еще за одну мать, — тянулся Терентий Нилов с бокалом к маринисту.

Перед пломбиром качали Аркадия Аполлоновича, и супруга — худенькая женщина в черном платье, с отложным белым воротничком, в лакированном пояске, стриженная, с седенькими кудряшками — умоляла жалостливо, теряя лорнетку:

— Друзья мои... Вы ведь любите Аркадия Аполлоновича... Осторожно, не надо... У Аркадия Аполлоновича почки... Ради меня...



Только для Аркадия Аполлоновича, во имя Аркадия Аполлоновича сопрано из Мариинского согласалось петь из «Жизни за царя» — мальчишки расчищали дорогу, уже в предвкушении блаженства теряли сознание.

Во втором часу князю Кундукову подали ендову — маринист постарался, пол-Киева обегал, но раздобыл ендову, не поддельную, древнюю, из частной коллекции ревнителя старины русской Купергисера.

С ендовой в руках князь резюмировал, — княжеская грудь, волнуясь, как рожь господская, которую, не спросясь, сжали мужички, сочно, но с надрывом округляла периоды.

Князь был тучен; из родового, из тульского, вывез только двух дочерей (еще в четырнадцатом, до Сараево, перезревших), двух мопсов и бюст Вольтера. Мопсы в тесной каморке гостиницы лютели, дочери перелицовывали платья, Вольтера расколошматил в Белгороде рьяный латыш в поисках бриллиантов, гибла Россия — и княжеская тучность исподволь переходила в дряхлость, и после банкетов, речей и заседаний княжна София, младшая, в «Лондонских номерах» прижимала к себе трясущуюся, размякшую голову и упрашивала:

— Папочка, успокойся. Папочка, ты увидишь — мы еще вернемся. Папочка, такие, как ты, нужны России.

Лаяли мопсы, из соседнего номера вопили: «Уймите собак»; стоя на коленях, княжна София расшнуровывала отцовские башмаки.

Княжеская рука, задрожав, опустила енды — ее подхватил сахарозаводчик Зусин:

— Господа! Хотя я наполовину сионист, но я люблю Россию. Господа, мы — люди дела, практики — не умеем говорить. Но... господа, я пью. Господа, в тот час, когда на углу Ильинки встанет шуцман, я все свое состояние...

— Урра!

— Телеграмму! Послать телеграмму!

— Урра!

Уже хохоча без удержу, размыв столики, как берега ненужные, излишние, Терентий Нилов вскочил на стул; островерхая голова стрельнула к потолку, расхлыстанный крик взвился:

— Эй!.. За зулусов! За готтентотов!.. Люди русские, черт вас подери, за команчей, за сенегальцев, за малайцев у ворот Кремля... Эй!..

Официальная часть кончилась — отъезжали коляски с сенаторами, с адвокатскими светилами, с действительными статскими, тайными, с знатоками римского права, церковного. Меня помогал Аркадию Аполлоновичу облачиться, профессорша безуспешно боролась с лавровым венком: он, твердый, точно из жести, не влезал в портфель, профессорша нервничала — начиналась мигрень.

Лакеи шмыгали с дежурными блюдами, стыдливо отвернувшись, орудовали штопорами; гукали пробки; в уборной над фаянсовыми унитазами уже изнывали истошно напряженные шеи: с эстрады Оскар Днепровский, плосколицый, точно с пеленок выструганный, звал на борьбу святую, на борьбу с новой

татарщиной, под стяг, к Дорогомиловской заставе;  
зубные врачи пели хором:

Из страны, страны далекой,  
С Волги-матушки широкой...

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Кротко ответил:

— Не пойду! — И было ясно: не уговорить его, не убедить.

Рыжик свесил голову; шейка худенькая, точно леса — заболталась головка, будто по ряби к вечеру шевелился поплавок — так, еле-еле... В комнате темно, рябился день уходящий.

— Все это ни к чему, Рыжик. Вы где-то, а я нигде. О чем говорить? Скажи им всем: пусть оставят меня в покое. «А» говорит Асаркисов тут, «б» бубнит Корней в Москве, и Мальвина кстати тянет со слезой «и-и», Беатриса Ароновна по пальцам пересчитает мне все буквы закона. А я, Рыжик, весь алфавит перечеркнул вдоль и поперек — был закон, и нету его: скапутился, ножками задрыгал и помер. Не скрою, покойничек крепкий был: дрыгая, так меня смазал, что не знаю, Рыжик, когда все ссадины заживут.

Под рябью окончательно скрылся поплавок — стиснул Рыжик ладошки, а ладошки мокрели — ушла головка в плечи, плечи будто в живот, дальше некуда: скрючился.

— И может — и не заживут. И не надо: пусть ноют ссадины, пусть покою не дают до гроба. Но алфавита не хочу. Довольно. Был я ученик при-

лежный, наzubок знал все буквы — в Париже штудировал, в Женеве зубрил и... Вот сломал себе зубы... Пусть оставят беззубого в покое. На что вам шамкающий? Вам — ведь вы-то уверены, что все зубы у вас на месте, убеждены, что разгрызете орешек московский. А орешек-то здоровый, ядреный, правда? Номер неожиданный, все расчеты опрокинул?

Рыжик молчал; поперхнулся было, точно натянулась леса, чтоб подсечь, выудить — и опять вяло повисла.

— И успокой их: к другой грамоте не припаду прозелитом жадным. Даже если бы захотел — поздно: весь разворочен, места живого нет. Есть такая штука, что разворачивает. Имя этой штуке простое: революция. Не по бумажке и указке, а идущая, как землетрясение: тысячью скважин. Такая, что к Асаркисовым за справками не обращается. Такая, что не спрашивает, веришь ли ты в личность или в некий железный закон, а просто берет за загривок и бац личностью в железный хребет. А он такой, что надвое мир рассекает, от полюса до полюса... И... Или ползи по хребту, отвоевывай каждый уступ, утверждай путь кровавый. Или трупом живым несись по волнам, плавай, пока тебя раки не слопают. Поздно, даже если бы... А может быть, хочу? А может быть, тянусь к ним исступленно? К ним — к конквистадорам московским, к черному хлебу ихнему — добыче российской, — минуя все калачи, расстегаи. Молчишь, Рыжик, молчишь?

Потянулся к плечикам, будто в воду опущенным, — встряхнуть их, к себе повернуть, — и в глаза, в глаза,

знакомые по Сибири, по этапкам, по парижским закоулкам, по мартовским митингам петербургским, плеснуть диким хохотом, чтоб и те — другие — встrepенулись, заныли, потемнели и разделили пополам боль непосильную, крутую, не по глазам одним, не по плечам одним, — и отнял руку, не дотянувшись:

— Иди, Рыжик. Все прилично будет — мне ли не знать наших приличий. Утешь Асаркисова: «Азбуку коммунизма» шорникам и слесарям растолковывать не буду. Успокой Беатрису Ароновну: в следователи на Лубянке не собираюсь. Иди, Рыжик, иди.

А Рыжик подполз тихонечко — боком, все боком подвигался, не глядя, поплавки не выуживая, и обнял Игоря.

Маленькая ручонка, не то детская, не то девичья, раз — другой, рыбешкой, выплеснутой на берег, затрепетала — и застыла, обвинившись вокруг шеи Игоря.

— Товарищэк!.. Помнишь, как ты меня впервые в Якутске прозвал... Товарищэк, Игорьь...

— Ну что, ну что, Рыжик?

— Что будет с тобою?

— Не знаю, не знаю, Рыжик.

На миг дрогнула шея, словно в спазме, но мигом спохватилась: по-прежнему натужная, литая.

— Товарищэк, Игорьь...

— Ну что, ну что, Рыжик?

— Зачем ты приехал сюда?

— За нею, Рыжик. За нею. Не знаю, для чего, но ищу ее. Не найду ее тут — к югу двинусь, к бесу на рога, но разыщу ее.

— Кого? Кого?

— Единственную, Рыжик. Белую деву... синюю птицу... красный цветок...

— Ты издеваешься надо мной?

— Вру, знаю, для чего ищу. Потому, что все азбуки прахом. Потому, что все переплеты в мусорный ящик. Ни бе ни ме, не осталось даже крестика по неграмотности.

— Игорь... Ведь это банкротство, яма. Господи, и какой ты бедный, бедный...

— А ты, Рыжик, ты богатый...

Осторожно, боясь быть резким, Игорь снял с себя завядшую ручонку и приподнялся. И рядом вскочил Рыжик.

Метался по комнате, бил себя кулачком в грудь; рыжий хохолок вздыбился, прыгали брови, ножки в узеньких брючках, срывался голосок: то катился вниз, будто по ступенькам рассыпались полые горошинки, то карабкался, забираясь кверху, кверху, точно к спасительной перекладине, чтоб с перекладины паутиновой снова сорваться, снова рассыпаться, снова покатиться...

— А... вот замолчал на минуту, тебя пожалел, чтоб не сразу ударить... А ты по-своему объяснил. Нет, врешь, врешь — богатый! В тысячу раз богаче тебя. Верю в социализм, верю в Учредительное Собрание. Ага, ага, верю, верю! В мужичка верю, в русскую правду верю. А, а, ошибся, товарищ Игорь. Богатый, богатый! Хотя бы ненавистью своей богат! У тебя и этого нет. Знаю: попрошайничать будешь. А я умирать буду — плевать буду в хари их. За все!

За родину мою загаженную... За расстрелянных, в подвалах умученных. Не прощу им. Ни одного из списка! Не любил, никогда не любил военных. Всегда от шпор держался подальше — шляпа. Но ни одного офицера им не прощу. Улыбайся, улыбайся, нищий: ни одного купца. Да, да, ни одного заложника, хотя бы валютчика. Всех забрал в себя. Людей русских, душ жертвенных. Все они тут. Тут в мозгу, в душе. Кровью изойду, а за кровь, за деревню расплачусь. Богат! Богат! В миллион раз богаче твоего. Нищий, убожество свое какой-то синей птицей покрываешь. Плевать мне на твою синюю птицу, когда в России ворон едят. Всю Россию искромсали. А, а!.. Ты от себя подальше: Рыжик замолчал, Рыжик, мол, такой же нищий. Врешь, Рыжик богат! Рыжик не поддастся. Захлебнется, а плюнет в хари... Плюнет! Плюнет!..

Игорь искал пальто; Рыжик вцепился в рукава:

— Не пуцу!

— Выпей стакан воды, — тихо сказал Игорь. — Это полезно. — И выпрямился: довольно, вон из комнаты — к шуму, к стуку колес, к чавканью, к паштетным, к проституткам, к черту, к дьяволу, но только подальше от кисельных комнатных сумерек, от сентиментальных объятий.

Оттолкнул Рыжика от двери — к кабакам, к липким стаканам, к горластым глоткам, к дрянненьким куплетцам, к собакам — все равно, но подальше, подальше от кликушествующих комитетчиков, жалостливых словечек... Кисельные сумерки, кисель, размазанный по тарелке, — благодарю, я сыт!..

В «Шато де-роз», показав бедра и все прочее, упорхнула голубая юбочка, и алчно замычали разверстые рты, похожие на развороченные помидоры; выскочил негр — отбивали дробь белые туфли, над белыми туфлями лезли из орбит вытарашенные белки, лоснился полированный лоб под курчавым мелким кустарником. В «Московском Яре» боярышня в кокошнике, сложив на животе пухлые руки, словно сдобные булки уложила на поднос, пела о доблестном православном христоролюбивом воине; женщины взвизгивали «браво»; распирая жилетки, колыхались студни, поглощая антрекоты, шнитцели, прополаскивая антрекоты, шнитцели и сосиски багровым бургундским, розовым кахетинским.

В «Уголке Стрельны» другая боярышня в кокошнике, помахивая трехцветным флажком, уносилась павой от усатого парня в высоких болотных сапогах, в грязном гусарском ментике поверх кремовой егоровской фуфайки; гусар, тяжело припадая к полу, хрипел:

По старинке, по-московски  
Мы с тобою заживем.  
Ходи хата! Ходи печь!

В «Варьете Грез», забаррикадившись столиками, уставив их в два ряда, один на другой, уступами, офицеры тянули «Боже, царя храни»; сверху, со второго этажа столиков, поджав ноги под себя, плача, икая, маленький коренастый штабс-капитан дирижировал двумя вилами, молоденький офицер в папахе по брови, перекосив лицо, бил стаканы, считал:



— Десятого... Вот так! Одиннадцатого вот эдак! Двенадцатого вот так уложу!..

К дверям, к ставням очумело бежали лакеи; шваркнув, затарахтели засовы...

— Мы повоюем! — кричал Игорю присоединившийся котелок в пальто с шелковыми потертыми лацканами. — Ура, господа офицеры. Бесстрашно вперед за Русь святую. Молодой человек, выпьем. Молодой человек, я вам от души протягиваю полный фиал за нашу...

— Благодарю, я сыт.

— Чем?

— Синей птицей.

Котелок тупо отшатнулся.

Стыли улицы в ночном безмолвии, в изморози, падал снег — снежинки были редкие, как всегда первые на юге, беспомощные, вдовьи; изредка проходили патрули, точно заговорщики; в Бибиковском на скамьях спали оборванцы. Заснуть, заснуть бы, вот так растянуться и вычеркнуть из жуткого бедствия... — не вычеркнешь, не вычеркнешь, малохольный, ни одной минутъ, ибо жила тонка, ибо со знайся, Игорь Сергеевич, что ты притворяешься безграмотным. Прислонился к дереву, шепча, и тоскливо улыбнулся: всем ближним и дальним бродягам, самому себе, деду.

— ...Дед, дед, задыхаюсь от булок.

Снова побрел; ныли ноги, следом шла ночь, баюкая тишь, шло безмолвие — как давит безмолвь, как ложится на грудь черной птицей... К черту, к черту всех птиц! Синие птицы обзавелись партийными би-

летами... синие птицы занялись подпольной работой... Красные цветки произрастают в Чека, белые девы ходят в РКП — к черту, к собакам кисельную размазню, скорей, скорей опять к пьяным огням, к пьяному зверью!

Неподалеку на ложе своем присел оборванец, потревоженный бормотанием; оглядел Игоря, фыркнул, подтянул штаны, плюнул и улегся снова.

В «Би-ба-бо», когда Игорь подходил, торопливо щелкали выключателями; полицейские чины уговаривали публику разойтись; извинялись, козыряли котиковым пальто, но были мягко-настойчивы: только что на глазах у всех, возле эстрады, — поближе к танго, к песенке о знойной Аргентине, где женщины, как на картине, — застрелился офицер; на столе осталась записка.

Пожимая плечами, негодуя, иронически улыбаясь, злясь, посмеиваясь, возмущаясь неслыханным безобразием, котелки, шубы, аксельбанты, фракы передавали друг другу на ухо, шепотком, чтобы дамы не слышали, содержание записки: «Жрете, сволочи? А мы за вас умирали, мать вашу...»

Палантины, манто жадно ловили обрывки фраз; к декольтированным плечам сбегал лукавый смешок.

Игорь огляделся: за угол, вкось падал свет, ближе — рокотала глухо музыка; дежурили пролетки и экипажи у подъезда «Эстетического клуба».

Игорь толкнул дверь.

А у входа в раздевальню он увидел Лиду: швейцар подавал ей шубку серенькую, коротенькую, пушистую — знакомую.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

И промелькнет сейчас шубка серая — зверьком серым, пушистым. Так мелькала не раз по оснеженному двору, сбегая с крылечка, еще вся в поцелуях, еще вся унизанная неповторными ночными словами любви, но уже обвеянная холодком предутренним, арбатским, чтобы снова на рассвете порвав жаркий круг, к вечеру заново ковать его, заново восстанавливая, звено за звеном, и сладкую горечь губ прильнувших, терпкий шепот, и крылечко, и узкий стежок к калитке. Из-под ног рванулся пол: покатым стал, непокорным; все покачнулось: вешалки, лестница, кверху уходящая, вереница шуб, пальто, зеркало.

И если даже не глядеть прямо, и если даже заставить не оборачиваться, а только твердить себе: держись, держись стойко! — в зеркале, на глади серой, отражается шубка серая.

И — спиной к какому-то косяку — крепче, крепче! — и лицом к зеркалу, задыхаясь, точно из промозглого карцера вырвался на простор и воздух глотаешь алчно, не отрываться от чудесного отражения, впиваясь следить за каждым движением плеч, рук.

И помнить, и помнить, что зеркала тускнеют, что миг назначенный стирает отражение, как губка в руках взрослого детские каракули на доске, что раскрытая дверь и ночь безглазая за дверью поглощают безвозвратно.

Вот уже ведет ее к порогу тот, — второй, высокий; первого — Сизова — Игорь узнал: вместе

в апрельские дни, в оттепель российскую, когда от Белого моря до Черного переливчато пронеслась первозванная весна, уламывали кронштадтских моряков быть добрыми и мягкими под стать весне.

Что, и он теперь состоит в подрывателях основ и, отложив в сторону Уольтера Патера, переводы свои из Овидия и шелковое белье, зовет к черному караваю?

Тускнеет зеркало, косяк шатается — спрашивай, спрашивай себя, почему они очутились тут, что привело их сюда, какая московская завируха закинула их в залу «Эстетического клуба» — и без ответа лови ускользящее отражение в мертвом зеркале, мертвый в мертвом.

Уходят, уходят...

Так вот они, друзья ее новые, спутники подпольные — созидатели, распределители, кожаные евангелисты от...

Промелькнет, промелькнет сейчас шубка серая — ускользнет из рук последняя дощечка, несись тогда невозбранно упавший за борт, в зелено-мутный провал взбаламученной хляби, ко дну вышвырнутым камнем.

И сорвалось:

— Лида! — И все сгнуло: бестолочь пустых дней, и чечетка негритянская, и Рыжик, и московская пустынь белая, и гусар в фуфайке, и постскрипtum Корнея Петровича об истории, и бастион из сосисок в «Уголке Стрельны» — зеркалом безмятежным затянуло провал: ни ряби, ни волн, ни всплеска — беззвучное ровное море и такое тихое, такое беспредельно глубокое небо над головой.

С Сизовым просто: назначить день, час и распрощаться, но как с Янеком?

Как сказать ему, как объяснить? И вот так: глазами к широкому пальто на углу, сквозь темень ловить на лице каждую морщинку, каждую складку, не видя угадывать их, не видя узнавать, что лоб стал круче — и слушать, и слушать, как Янек поучает Сизова, как распекает индивидуалистов, как Сизов посмеивается: «Ладно уж, слыхали». И вот так: живо распятой на перекрестке двух улиц.

А широкое пальто не шевелится, широкое пальто ждет — и знает Лида: застынет, но не уйдет, омертвеет, но не сдвинется с места, точно все прежним обернулось, точно ждет-поджидает у Сивцева Вражка.

Наконец-то прощается Сизов, но как медленно, как отвратительно-тягуче выползают слова — тянушка, тянушка липкая... так в детстве вязла в зубах, приторная, — да, да, все помнит, сделает... да, да, конечно, московские не учитывают всего, но об этом завтра... отчасти Янек прав, но все это... да-да, исподволь, ну, конечно, да, да...

Распахнула шубку — дышать нечем; шапочку сдернула — огнем обдает: здесь, здесь Игорь, рукой подать, только окликнуть, только остаться одной.

И вот никогда не упомнит, что зашептала она тогда Янеку, что наговорила ему в свалке слов бессвязных, как распахнула перед ним душу свою, словно шубку.

Уходил Янек — не оборачивался; прямой исчезло прямое, прямое с прямым слилось.

И от угла оторвалось широкое пальто.

Оцепеневшее море: ни гребней, ни всплеска — и такое глубокое, такое бесконечно тихое море.

Можно наконец руки опустить, так, легко, кинуть их, не утруждая себя, будто сон тебя вяжет — ласковый, бережный, благостно опутывая ворсинками мохнатыми, можно не думать о спасательных поясах, о черных караваях, о рыжих комитетчиках, о белых булках, — неподалеку от оборванцев, людей прохожих без имени и звания, на такой же скамье, как и они, прилег Игорь, и голову его, как некогда голову Шелапугина, в телеге, по пути жуткому, приняла Лида в ладони свои:

— Горя мой! Горя мой!

— Горе твое? — И засмеялся впервые за это время. — Куда ты — туда и оно. А ты скрыться хотела.

— Молчи, Горя, молчи! — И в горести беспомощно прикрыла шапочкой рот его, — маленькой шапочкой маленькая женщина.

Целовал шапочку.

— А я ведь искал тебя. Только с постели — и за тобой.

Упала шапочка, отлегли ладони, похолодев: умет одно человеческое сердце так незаметно, будто походя, бить по сердцу другого.

— И пошарил же я по Москве, пока первую ниточку нашел. Большие вы конспираторы. Скажи, скажи, шубка серая, а ты за горем своим пойдешь?

— Куда? — И вернулись ладони, еще боязливые, но бессильные оторваться: вся жизнь в пальцах, вьются пальцы — крылья в тенетах; под пальцами губы —

не отлететь от них, терпких и милых, милых и бьющих. — Горя мой!.. Горя мой!..

И так долго, и так только одно:

— Горя, Горя мой!..

Телега, путь... путь и телега...

Темная, темная ночь — осторожно, стекло! — и надо, и надо в ночь уходить, приходить, появляться, исчезать.

Еще раз распахнула шубку: нечем, нечем дышать, а под шубкой губы целуют — губы целуют и губы же предают пытке нещадной:

— Всюду, куда позову. Вот, примерно, не пойдешь со мной к морю синему, к кипарисам?

— Молчи! Молчи!

— Сниму я там домик небольшой. Назову его «мечтой труженика». А, каково названьице? Мечта после трудов праведных, после всех бурь, комитетов, матросов с сережками и царевококшайских Робеспьеров. Не пойдешь?

— Молчи. Молчи.

— А в никуда, но подальше, но со мной? Но спасти меня?

Всколыхнулась серая шубка — и поникла, будто подстрелили зверька пушистого насмерть.

— Кончено? С ними? Навсегда? — Ладони уми-  
рали — и, зарываясь потухшим лицом в ее колени,  
глубже, все глубже, он попросил: — Обними, обни-  
ми меня крепче. Так долго еще плыть.

1923 г.

## **ЧЕЛОВЕК ЗА БОРТОМ, ИЛИ БЕГСТВО В ГОЛУБОЙ ПОКОЙ**

**(Вместо послесловия)**

Андрей (настоящее имя — Юлий Михайлович) Соболев родился 13 мая 1888 года в Саратове, а застрелен 12 мая (накануне дня рождения) 1926 года в Москве, на Тверском бульваре. В классически малые 38 лет прожитой жизни уместилось — на сегодняшний взгляд — необычайно много: многолетние скитания по России и — позднее — по Западной Европе, революционная деятельность и более двадцати изданных книг, в том числе и четырехтомное собрание сочинений, подготовленное накануне, но вышедшее уже после самоубийства автора.

В 14 лет Андрей Соболев ушел из семьи; жил, по его словам, в Ирбите, на Урале, в Нижнем Новгороде. Был суфлером летнего театра оперетты в Северо-Западном крае. В 16 лет примкнул к революционным кружкам, через два года (в 1906) был арестован, судим и приговорен к четырем годам каторги. Отбывал ее в Зерентуе (Забайкалье). Примкнул к партии эсеров.



В 1909 году бежал за границу и вплоть до начала Первой мировой войны пять лет скитался по городам Западной Европы. Когда началась всемирная бойня, Соболев пытался записаться во французскую армию волонтером, но по здоровью не был зачислен. Тогда же он стал печататься. Вообще-то писать Андрей Соболев начал очень рано, но серьезно литературой занялся только в 1913 году. В журнале «Русское богатство» появился его первый рассказ, а вскоре — и второй — в журнале «Заветы».

В начале 1915 года Андрей Соболев нелегально вернулся в Россию. В этом же году «Русская мысль» опубликовала его роман «Пыль». В 1916 году он под чужой фамилией отправился на Кавказский фронт. В апреле 1917 возвратился в Москву: амнистия, конец нелегальной жизни. В августе отправлен на Северный фронт — комиссаром Временного правительства в 12 армии.

После Октябрьского переворота долгое время его носило по России. Окончательно в Москву возвратился в 1922 году и сосредоточился на литературной деятельности. Впрочем, в революционные годы он много печатался в периодике: «Россия», «Корабль», «Красная новь», «Еврейский альманах». Вступил во Всероссийский союз писателей и даже был избран секретарем Правления, каковым оставался до самой смерти.

Была видимость творческого благополучия. Андрей Соболев много писал, ежегодно выходило от трех до пяти его книг, знаменитый Таиров в московском Камерном театре поставил его пьесу «Сирокко» (инсценировку «Рассказа о голубом покое»).

Но при всем внешнем благополучии несомненно имел место глубокий внутренний разлад. Эсеровское прошлое не могло легко и быстро отпустить новоиспеченного советского писателя. Особенно наглядно вырисовывается сегодня зыбкость его судьбы при сопоставлении с судьбой Бориса Савинкова, тоже эсера и известного писателя.

Савинков был на 9 лет старше Соболя, на 7 лет раньше угодил в заключение в столичную крепость и выслан в Вологду. Оттуда Савинков бежал в 1903 году. И у него начались свои скитания по городам Западной Европы: Париж, Лондон, Франкфурт-на-Майне... Первый роман «Конь бледный» (название придумала З. Гиппиус) появился в журнале «Русская мысль» в 1909 году за подписью «В. Ропшин».

И Соболю, и Савинкову публиковались в одних и тех же журналах.

С началом Первой мировой Борис Савинков стал французским волонтером несмотря на уговоры Плеханова, убеждавшего его в большом литературном будущем.

Февральская революция 1917 года немедленно вызвала Савинкова домой. Через Стокгольм — в Петроград.

Керенский вскоре направил Савинкова комиссаром 7 армии на Юго-Западный фронт. Здесь прямая параллель назначению Соболя, совпадающая и по времени.

Эсеры были тогда самой популярной партией. Число членов партии социалистов-революционеров

составляло в 1917 году около миллиона. Во Временное правительство входили помимо Керенского еще несколько членов этой партии. Она же получила и большинство голосов на выборах в Учредительное собрание.

Пропустим все последующие жизненные перипетии Савинкова после Октября, ясно одно: с первых же дней он — явный враг Советской власти. В отличие мятущегося Андрея Соболя.

Последний арест Савинкова произошел 16 августа 1924 г. После шумного судебного процесса и вынужденного признания им власти Советов Савинков находится в заключении, много пишет, публикуется в советской печати и погибает в начале 1925 года при невыясненных до сих пор обстоятельствах.

А в 1927 году в приложении к журналу «Огонек» вышли серийной книжкой «Посмертные письма и статьи» Бориса Савинкова, скорее всего сфальсифицированные.

Перед этим, в 1922 — 1924 г., в России был страшный голод, в который погибли миллионы россиян. А амнистия эсеров, объявленная большевиками в 1919 году, — аннулирована.

В творчестве Андрея Соболя последних лет можно обнаружить отзвуки раздумий писателя о приближающейся неминуемой гибели. И его самого, и его любимых героев.

В 1924 году издательство «Круг» выпустило любопытный сборник «Писатели об искусстве и о себе», где собраны статьи одиннадцати писателей, в т. ч. и

Андрея Соболя. Названия статей, скорее всего, даны бдительными редакторами или цензорами. Например, «Литературные ухабы. Мысли вслух», «Лоскутки мыслей о литературе», «Вредные мысли». Своеобразные самодоносы, самооговоры писателей. У Соболя статья озаглавлена — тоже символически — «Косноязычие».

Она так и начинается: «...Мы косноязычны. Если не все, то почти все».

И еще через полстраницы: «Есть жизнь — огромная, необъятная; она одновременно подлая и светлая, грешная и святая. Есть Россия — наша жизнь. Есть революция жуткая и пламенная, своя и будто не своя, отталкивающая и притягивающая к себе крепче просмоленного морского каната. Есть искусство — наш крест и наша роза, наша радость и наше злосчастье, наш провал и наш взлет, наша святая святых и наше проклятие».

Место не позволяет обильного цитирования. Но опять далее — по тексту: «Сладкий и горький наш плен».

Каждый узник в плену — трус ли он или храбрец отчаянный — дни и ночи измышляет: как вырваться, как преодолеть высоту стен, крепость решетки, бдительность стражи.

В сладком нашем плену, в горьком плену нам не измыслить, как преодолеть слово, мысль, образ.

Узник тюремный под кирпичом своей камеры тайно прячет пилочку, скрываясь от цепких глаз тюремщика, вяжет лестницу, ждет не дождется ракеты — условного сигнала друзей...

...Мы — узники — плохие теоретики: наша пилочка примитивна, ее мы огтачиваем о каменные плиты своей камеры, лестницу мы вьем из доскутков. А друзья наши по ту сторону осторожной стены всегда по части ракеты опаздывают, а когда она взрывается — уже поздно».

Этот эзопов язык был понятен не только единомышленникам, но и тюремщикам, новоявленным победителям.

Бегство в «голубой покой» было возможно только через вороненный зрачок пистолета.

Любимые герои А.Соболя — интеллигенты — выбирали для себя другие пути бегства, но чаще всего вместо самоубийства им предлагала «русская рулетка» только смерть в ГУЛАГе или в подвалах ЧК. В героях произведений А.Соболя — немало отличительных черт самого писателя. И как иначе. «Человек с обнаженным сердцем», искалеченный сначала «голубеньким вагоном» — «триумфальным поездом самодержавия», потом основательно перееханный «салон-вагоном» главкома Троцкого, не стал дожидаться таежной дрезины-мясорубки Сталина.

Он сам поставил точку в судьбе.

Этого ему не простили. Книги Андрея Соболя перестали выходить, пьесы его перестали ставить.

Однако его творческая жизнь не прекратилась. И я надеюсь, что удастся в ближайшее время вернуть читателю не только данный томик, но и другие его книги, отмеченные незаурядным талантом их автора.

*Виктор Широков*

## СОДЕРЖАНИЕ

САЛОН-ВАГОН .....	5
ПОГРЕБ .....	107
МИМОХОДОМ .....	117
ПАНОПТИКУМ .....	126
ОБЛОМКИ .....	173
ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ БАРОНА ФЬЮБЕЛЬ-ФЬЮТЦЕНАУ .....	205
ЛЮБОВЬ НА АРБАТЕ .....	213
СОБАЧЬЯ ПЛОЩАДКА .....	223
КИТАЙСКИЕ ТЕНИ .....	235
ЧЕЛОВЕК ЗА БОРТОМ .....	255
Человек за бортом или бегство в голубой покой (вместо послесловия) .....	311

серия:  
**СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК  
РУССКОЙ ПРОЗЫ**

**Соболь Андрей**  
Человек за бортом.  
Повести и рассказы

*Редактор-составитель В. А. Широков*  
*Дизайн переплета Н. Г. Столярова*  
*Компьютерная верстка текста Н. В. Полищук*

**Формат 70×100<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага офсетная.**  
**Гарнитура Kudgashov. Печать офсетная.**  
**Объем 10 п. л. Тираж 3000 экз.**  
**Заказ № 8021.**

ЛР 00485 от 29.11.99  
Издательство «Книгописная палата»  
101070 Москва, ул. Матросская Тишина,  
д. 23/7, корп. 5, офис 203  
тел./факс (095) 268-88-57  
E-mail: knpal@online.ru

Отпечатано с готовых диапозитивов  
на Книжной фабрике № 1,  
г. Электросталь, ул. Тевосяна, д. 25

ISBN 5-9254-0007-0



9 785925 400074

## ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНТОРА «КУКША»

*(образована в 1991 году)*

предоставляет услуги организациям и гражданам в области гражданского, налогового, страхового и др. отраслей права. Это:

— представление интересов заказчика в суде или арбитражном суде (включая систематическую претензионно-исковую работу), а также правовое содействие при досудебных переговорах и в ходе исполнительного производства;

— устные или письменные **консультации** по правовым вопросам;

— представительство при **заключении**, изменении, прекращении гражданско-правовых **договоров** (поставки, подряда, аренды, залога, купли-продажи объектов недвижимости; о создании хозяйственных обществ или некоммерческих организаций и т.п.);

— консультирование по вопросам специфики отчетности акционерных обществ, регистрации выпусков ценных бумаг, ведению реестра акционеров и т.п.;

— **составление** договоров и иных документов правового характера, осуществление их правовой экспертизы, либо **предоставление эксклюзивных типовых документов**, характеризующихся большим объемом отношений, регулируемых каждым договором; многовариантностью; наличием комментариев.



## АУДИТОРСКАЯ КОНТОРА «КУКША»

проводит аудиторские проверки организаций общехозяйственного профиля, консультирует по учету и отчетности.

Среди наших клиентов – организации оптовой и розничной торговли продуктами питания, иными товарами народного потребления, продукцией производственно-технического назначения; осуществляющие строительную деятельность; добычу и реализацию нефти и нефтепродуктов; производство кинопродукции; разработку компьютерных программ; оказание медицинских услуг и др.

Опыт показал: проведение инициативного аудита или консультирования по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения целесообразно как в отношении прошедших периодов деятельности или отдельных совершенных операций, так и предполагаемых видов деятельности или операций.

### КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ ПУНКТЫ:

**Юридической конторы** – ул. Алтайская, д.4  
(ст. м. “Щелковская”), тел./факс 460-0393; 460-1329  
**Аудиторской конторы** – ул. Уральская, д.12/21, к. 35  
(ст. м. “Щелковская”), тел./факс 742 -68 59

АДРЕС ДЛЯ ПИСЕМ:  
107241, Москва, а/я 24;  
E-mail: [cooksha@orc.ru](mailto:cooksha@orc.ru); <http://www.cooksha.chat.ru>

